

A 521
кР

911271



АЛТАЙ

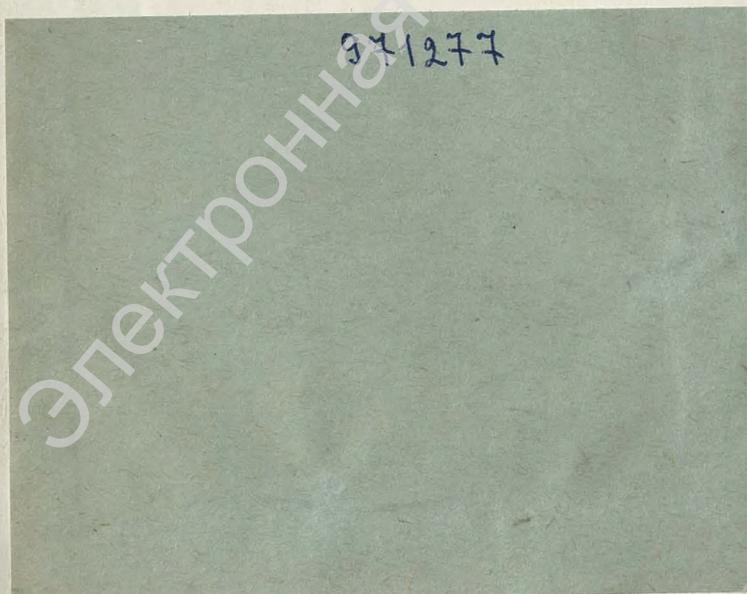
1976

4

Электроника



ПОРТРЕТ Ю. Н. РЕРИХА. ХУДОЖНИК ИЛЗА РУДЗИТЕ-ЦЕСЮЛЕВИЧ.



A 521
кр

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXVIII

№ 4 (79) 1976

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Иван ШУМИЛОВ. Деревня Ивановка. Повесть 3

ПОЭЗИЯ

Владимир СЕРГЕЕВ. Кардиограмма. Поэма 52

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор СЛИПЕНЧУК. Я знаю: город будет 60
Василий ГРИШАЕВ. Любовь любовью отзовется 64

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Каролина САРАНЧА. Не в Россию — в меня возвращаются птицы 73
Евгения МАКСИМОВА. Любовь, брак, семья. Размышления по поводу одной
повести 77
Евгений МАТОЧКИН. Дар Святослава Рериха 79

Редактор Н. Г. ДВОРЦОВ

Редакционная коллегия:

Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора).

И. С. КАЗАНЦЕВ,

Л. И. КВИН,

Ю. А. МАЙОРОВ,

Г. П. ПАНОВ,

В. Н. ПОПОВ.

971277



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ», 1976, № 4

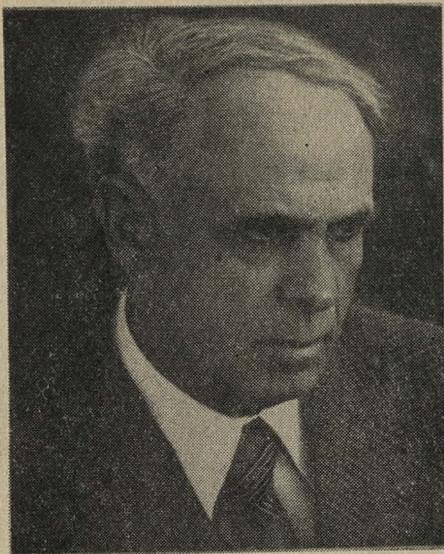
Художественный редактор Б. Лупачев. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры Г. Сдвижкова, А. Дмитриев.

Рукописи не возвращаются.

АГ 00185. Сдано в набор 21. IX. 1976 г. Подписано к печати 27. X. 1976 г. Формат 84×108/16.
Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 84. Уч.-изд. л. 10,280. Тираж 8000 экз. Заказ № 2740. Цена
40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли — Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательства, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, Л. Толстого, 29.

Адрес редакции: Барнаул, 56, Ленина, 8. Телефон 95-4-21.

148



Алтайскому читателю известен своими рассказами, повестями, романом «Жажда». Участник Великой Отечественной войны. По профессии учитель, долго работал в школе.

Последние несколько лет сотрудничал в газете Павловского района.

Хорошее знание сельской жизни определяет тематику его творчества.

Иван ШУМИЛОВ

ДЕРЕВНЯ ИВАНОВКА

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мишка не был сегодня на покосе — оставался домовничать. Вечером, выломив тынину, он вышел за деревню, чтобы встретить Ветку. Он долго стоял у дороги в компании таких же, как и сам, мальчишек, ожидая стадо. Наконец-то, таща над собой темное облако пыли, коровы подошли к селу. Мишка все глаза проглядел, отыскивая в пыли Ветку. Когда животные прошли, он бросился к пастуху дяде Коле Пахорукому, но тот на его вопрос только плечами пожал: «Тут была». Мишка подождал еще немного у околицы, пропустил мимо себя всех оставших буренок — хромых, ленивых и самовольных — и отправился по-за огородами в степь, в колки. «Вот шалава», — ругал он Ветку.

Анисья вернулась с работы еще при солнце. Подходя к стайке, она не увидела Ветки. «Может, он загнал ее во двор?» Она открыла ворота — однако и тут не обнаружила коровы. «Где-то ищет, пригонит», — подумала она и успокоилась.

Пересчитав кур, уже примостившихся на ночлег, она вынула из гнезда яйца, их оказалось четыре, а должно быть, по данным утренней разведки, — пять. Пестрая курочка опять снеслась где-то в огороде или у соседки Рогозики под амбарушкой. «Надо как-нибудь Мишку нарядить туда, там теперь уже с десяток наберется. Взять надо, а то еще парить вздумает...»

В сенях она выложила яйца в пестерюшку, что висела на крюку у стены, подумала о том, что скоро надо будет их нести заготовителю, «в план», зашла в избу. Цыган следовал за ней, наступал на пятки, канючил. Только его жалобы и слышались в избе, больше никаких звуков.

Она все еще никак не могла привыкнуть к тишине и запустению, которые мертвили дом после ухода в армию Мити.

В окнах промелькнул Мишка, тотчас вбежал в избу, выпалил задыхаясь:

— Мама, Ветку задавило!

Весть была невероятной, ошеломляющей, и в первый миг до Анисьи или не дошел ее страшный смысл, или она сама не

захотела его понять, отталкивала от себя.

— Что ты городишь?

— Чесслово, мама! Там, на тракте, машиной задавило.

— Может, не Ветка?

— Сам видел.

— Жива еще?

— Угу.

Вот когда у Анисьи дрогнуло и зачастило сердце, и кровь в голову кинулась так, что свет в глазах застелило. Она выскочила из избы и через всю деревню бросилась к тракту. Думала о Ветке не как о кормилице и опоре семьи, а как о живом любимом существе, которому сейчас больно и которое в страданиях, возможно, умирает. Она бежала все быстрее, и тревога ее с каждой минутой росла.

Ветка лежала на дороге, ближе к кювету, и даже головы не могла поднять, но она все-таки признала голос хозяйки, жалобно застонала.

— Беги за Леней Кузьминым! — бросила Анисья Мишке. — Да живей!

Сама она обхватила голову коровы и попыталась приподнять ее, но голова бесильно валилась.

— Ветка, Веточка, что с тобой наделали! Ах, горюшко ты мое...

В глазах коровы горело багровое закатное солнце. Анисья ощупывала грудь, шею, бугор живота, гладила свою любимицу — но та не откликалась на ее ласку.

Наконец-то подъехал Кузьмин. Он молчаливо обошел вокруг коровы, зачем-то посмотрел ей в глаза, оттягивая веки, и только потом начал ощупывать и слушать ее. Анисья с тревогой ждала его слова. Он молчал и молчал, и это становилось невыносимым.

— Ну, что же, Леня? — не выдержала Анисья.

— Сейчас, — спокойно ответил он и направился к своей повозке, откуда вернулся с топором и с большим, кроваво сверкнувшим на солнце обоюдоострым ножом.

Анисья заревела в голос:

— Леня, может она поправится?! Зачем ты так сразу?..

— Хоть мясом попользуешься, — ответил Кузьмин. — Мишанка, неси с моей телеги солому, побольше!

Анисья не находила себе места.

— Подожди, я уйду, — и поплелась к кустикам, зеленевшим неподалеку от дороги. Не удержалась, прослезилась там, а когда вернулась — голова Ветки лежала в стороне от туловища и на глазах желтел клоком соломы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Приехали с мясом уже в потемках. Леня помог занести его в сенки.

— Не уезжай, — сказала Анисья, — поджарим что-нибудь. Нароботался.

— К свежатинке-то есть? — Кузьмин почесал в затылке.

— Да уж найду, поди, маленько.

— Тогда ладно, остаюсь.

— А что поджарить? — спросила Анисья. — Что любишь? Может, почки?

— Мозги бы.

— Тогда разруби голову.

Леня Кузьмин был дружкой Анисьиного мужа. Когда-то, лет двенадцать назад, они вместе ходили на вечерки, на «улицу». Низенький, коренастый, с большой головой и кривыми ногами, Леня рядом со стройным Митей выглядел смешно, но над ним никто не смеялся — наоборот, все любили его за легкий и веселый нрав, за частушки, которые он часто пел под Митину гармошку. Носили они с другом тогда одинаковые синие рубахи-косоворотки под ремнем, хромо-вые сапоги с узкими голенищами на высоких каблуках, со скрипом. Женились тоже в один год. Леня взял Нюрку Батищеву. Басенькая была Нюрка — Леня и втюрился. Народила она за эти годы семерых, тоже басеньких, и теперь он нужду мыкает с этой бригадой. Какие-то курсы закончил и с тех пор на фермах со скотом возится. Да и «членский» скот не забывает: подойдет весна — закололапит Леня по деревне, в каждый двор заходит, осматривает скотину, уколы ставит, а где и подхлостит телка или боровишка... А перед июньской жарой всем коровам хребтины вымажет пахучей жидкостью — от паута и мошкары. Очень нужный в деревне человек, невозможно без него. И добряга — все делает задаром, о плате не заикайся — обидится. Обносился, никогда на нем ничего доброго Анисья не видела, все в каком-то латаном и вечно в одном и том же, как говорят, зимой и летом одним цветом. Пиджачишко весь испочиненный и выгоревший, дождевик тоже побелел, сапоги стоптанные... И сам весь лекарствами пропитался — за версту от него несет.

Зато в селе никто не укорит его, что он не на фронте, хотя болезнь у него нетяжелая, что-то с бронхами — другим же некоторым бабы прямо в глаза попреки бросают, хоть тому же Гришке Сазонову. Притворился, гад, припадочным, а сам, как получит повестку, везет в район масло, мед...

Мозги над таганком уже весело разгова-

ривали на все голоса. Избу освещал костерчик: лампу Анисья не зажигала, берегла керосин. Леня умылся, причесался самодельной алюминиевой расческой, сел к столу. Анисья полезла в подполье, достала бутылку с мутной желтоватой самогонкой.

— Поди, еще с проводов осталась? — спросил повеселевший Леня.

— Ну. Полгода уже пылится.

— Как шампанское. Выдержанное! От Митрия-то давно известие было?

— Вчера письмо. Пишет, что скоро поближе к дому их привезут, а куда — неизвестно.

— Ну, это военная тайна, нельзя.

— Вот бы в Барнаул!

— А что, может, и в Барнаул.

— Поди, уж на фронт скоро... Шесть месяцев учат...

— Фронта им не миновать, — подтвердил Кузьмин. — Долго войне тянуться, силен вражина...

Анисья поставила сковородку с мозгами на стол, достала из шкафчика ложки, соль, картофельные драники. — Давайте ись. Сынок, чего ты залез на печь, вставай, руки еще надо мыть. — Она зажгла, наконец, лампу.

Мишка не отвечал.

— Ну, не притворяйся, слышу, что не спишь. И не бойся — ругать не буду: где ж за ней уследишь — у нее сто дорог...

Мишка ел мало, дремал за столом. А Леня, видать, сильно проголодался, да и стопочки аппетита прибавили — кушанье быстро убывало.

— Ешь, ешь, Леня, доедай. Я вот тебе еще налью.

— Хватит, побереги.

— А куда ее? Не оставлять же в бутылке. За Митю выпей, чтоб живой вернулся.

— Разве что за Митю.

Как только со стола было все прибрано, Кузьмин принес большую сумку из черной морщинистой кожи (сто лет Анисья видит его с этой сумкой), достал бумаги, ручку, чернильницу-непроливайку.

— Сразу же и акт оформим. Вот что, Оня: я напишу в акте, что корова решила, получишь страховку.

— Ну-к чо...

— Все сделаю... Митряй-то — мой лучший друг... Удастся ли тебе мясо продать...

— Ох, куда я с ним денусь! Жарища такая...

— Вези в Шелаболиху на базар. Пораньше, до петухов.

— Да на чем же, Леня? На быке до вечера проскрипишь.

Леня подумал, губами пошевелил.

— Я бы свою лошадь дал, да завтра крайне надо попасть за Прорыв — молодняк там падает, и меня ждут. А ты у Сереги лошадь попроси, у бригадира. Выделит, куда он денется, такое спешное дело.

Кузьмин долго сопел над актом, потом еще писал справку для клеймения мяса.

— Возьми хоть кусочек мяса ребятишкам, — предложила Анисья, когда Леня сложил бумаги и засобирился уходить.

— Ты что? Рассердить меня хочешь?

И он быстро исчез в дверях, надолго оставив в избе запах скотских лекарств.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Колхозного бригадира Дмитрия Чупина долго не брали на войну из-за болезни, которую называли то опущением желудка, то надсадой. Бывало, где-нибудь на поле, на покосе или дома схватит его боль, согнет в три погибели, он с лица сменится, лежит час или больше с тоской в глазах.

Надсаду Чупин приобрел перед войной на лесозаготовках, подняв бревно не по силам. С тех пор и мучился. Анисья не раз говорила мужу: «Иди ты к бабке Рогозихе, она животы правит, сколько мужиков уже вылечила», но Митя бабок не хотел признавать, навещал врача, а тот давал какие-то порошки, от которых боль на время утихла — и только. В конце концов врач отказался его лечить, и Митя жил без надежды на выздоровление. Часто страшные боли заставляли его буквально лезть на стенку. Ногами он поднимался по стенке вверх, долго стоял на голове, только после этого боль утихала, и он ложился и засыпал.

Началась война. Все сверстники пошли бить врага, а Чупина в армию не взяли. И он крепко призадумался. Однажды, после особенно мучительного приступа, он сказал жене: «Чорт с ней, с бабкой, от нее хуже не будет, согласен». Анисья назавтра же сходила к Рогозихе, договорилась, и Митя вечером, чтоб никто не видел, нырнул в ее избушку. Он думал, что бабка начнет «нашептывать» и вообще разведет всякую чертовщину, но Рогозиха, уложив страдальца на кровать, начала ощупывать, а потом мылить его живот, свои руки и теснить желудок куда-то кверху, под самое горло...

После этой процедуры бабка туго перетянула ему живот полотенцем и сказала:

— Завтра приходи в это же время.

Митя рискнул прийти еще раз, потом еще и еще... Семь раз посетил он Рогози-

ху — и приступы болезни прекратились, Митя совсем забыл о ней.

«Вылечился, можно идти воевать», — говорил он жене. «Придет время — возьмут, не удержишься», — отвечала Анисья. Раза два он подавал заявление в военкомат, но ему говорили, что надо еще полегчить, окрепнуть и найти себе замену. И когда вернулся из госпиталя охромевший Серега Поднебесный, мужчина молодой, одногодок Дмитрия, грамотный и хозяйственный, — настойчивым просьбам Чупина уступили, зачислили его в особую часть добровольцев-сибиряков.

Новый бригадир поставил Анисью прицепщицей на трактор к Маньке Коробковой.

Однажды весной Манька и Анисья пахали на жнивьё.

Полоса была огромная, гоны длинные, километра на три — от бригадного стана через бугры и лощины, под уклон, чуть не до бора. С самого утра морочало и дул холодный ветер, раскачивая сухие прошлогодние стебли, а вечером с запада показалась темная, точно густой дым от смолистых дров, туча, которая разрасталась и скоро заняла все небо, не оставив ни малейшего просвета. Когда трактор подходил к концу полосы, к бору, начали пролетать редкие снежинки. Манька остановила трактор, крикнула Анисье:

— Как назад-то поедем?

— А что?

— Да борозду плохо вижу.

— Слепела?!

— Я не кошка! — обиделась Манька и снова включила скорость.

Ночь надвигалась быстро, и вскоре на поле уже ничего не было видно в двух шагах. Трактор выступил из борозды, двинулся влево, и Анисья, почувствовав это отклонение по плугу, ткнула в Манькину спину длинной палкой, которую держала на привязи за плугом.

— Чего? — закричала Манька и остановилась.

— Куда же ты едешь? Уснула? Сворачивай в борозду!

Трактор опять пошел, но лемеха то крепь отваливали, то перелопачивали уже поднятые пласты. «Ну, завияла, — сердилась Анисья на Маньку. — Чучело гороховое!»

Кое-как они дотянули до конца полосы. Анисья подняла лемеха и, пока ехали без работы, думала о жаркой железной печке, которая сейчас гудит на бригадном стане, золотисто светясь и играя дверными дырочками, как перламутровыми пуговицами, —

не зря же эту печку, сделанную из бензиновой бочки, назвали «баяном»... Руки у Анисьи озябли, и по телу, одетому в промасленную и сверху нахолодавшую, как жезь, фуфайку, пробегала порою дрожь, словно за воротник попадала холодная дождевая струйка.

Борозду на другой стороне полосы начали искать обе, нашарили ногами, но неопытная Манька так и не могла попасть в нее колесом, и началось «самое отъявленное бракодельство», как в таких случаях выражался бригадир Серега Поднебесный. То они входили в борозду, то выходили из нее. Между тем ночь сделалась совершенно непроглядной: руку протяни — и не увидишь, даже контуры трактора различить трудно.

Манька остановилась, прыгнула с трактора:

— Куда теперь ехать?

Анисья тоже слезла с беседки. Под ногами почувствовала стерню.

— Где бригада-то? — спрашивала Манька. — Я совсем запуталась, прямо как круженная овечка.

— Борозда выведет, — сказала Анисья. — Надо найти борозду.

— Да ее все равно с трактора-то не видно, как по ней поеду? Опять куда-нибудь поведу в сторону.

— А все-таки надо искать борозду, хоть сами по ней до бригады доберемся, а трактор оставим здесь.

— Пряма, — возразила Манька. — Так я тебе и бросила трактор. Тут струменту всякого вон сколько, солидол, да мало ли чо. Кто-нибудь доберется.

— В такую темень кто пойдет?

— Мало ли кто... Некоторые только и выглядят, как бы чего свистнуть... что плохо лежит. Ключ, тавотницу, а то и магнето.

— Теперь чо, всю ночь куковать у твоего трактора? Целоваться с ним? — разозлилась Анисья.

— Ты иди, а я тут ночую, — сказала Манька.

— А не боишься?

Анисья как подумала о ночи, которую придется провести здесь Маньке, — темень, соломы нигде на найдешь, холодно и одиноко, а Манька худенькая, сейчас уже вся посинела, едва губами шевелит, — так сразу и решила, что не оставит здесь девчонку ни за что, за руку уведет на бригаду. Испростить тут недолго, она и так по ночам бухает... А трактор — что? Железо. С ним ничего не делается, до утра простоит.

Манька зря о каких-то ворах думает, излишней дури на себя нагоняет.

— Вот что, — сказала Анисья. — Я сейчас пойду борозду искать, как найду, крикну, а ты езжай на мой голос.

— Ладно, ну, а дальше?

— Потом видно будет, что делать.

Пахоту Анисья нашла быстро. Крикнула Маньке и, когда та подъехала, спросила:

— У тебя спичек нет?

— Откуда они!

— Были бы спички, я шла бы и жгла, а ты за мной.

— Если бы да кабы да во рту росли грибы, — ответила Манька. — Андрон на бригаде веревку жжет, чтобы огонь не потерять. Видела? На бычишке поедет из дому, старую веревку положит на телегу, она дымит, воняет, Андрон чихает, но не выбрасывает.

— Мань, а я догадалась! — вдруг крикнула Анисья.

— Как догадалась?

Но Анисья уже рядом не было. Манька пристально всматривалась в темноту. Вдруг в нескольких шагах от нее что-то забелело.

— Видишь меня? — донесся голос Анисьи.

— Ты что, юбку сняла?

— Ага.

— В одной рубахе?

— Ну.

— Ноги у тебя прямо как снег!

— Замерзли... Ну, с трактора меня увидишь?

Манька залезла к рулю:

— Вижу!

— Тогда поедем! Я по борозде, ты за мной. Только не задави меня.

— Не бойся, я вижу. Белое пятно.

Так они и двинулись к бригадному стану.

На язык Манька слабовата. Она назавтра же раззвонила на всю бригаду, как Анисья ночью светила ей «своими фарами», и смеху было немало. Узнал об этом случае и Серега Поднебесный.

— Вон ты какая, — с улыбкой сказал он Анисье, когда они случайно столкнулись один на один около бригадной кашеварки.

— Какая?

— Молодец! Не растерялась. Я про ту ночь... С Манькой.

— А-а...

— Только ты и могла такое придумать. Выдающее.

— Прямото.

— И как тебе в голову пришло?

— Нужда заставит целовать сопливого, — засмеялась Анисья.

— Ах, Анисья, — вздохнул Поднебесный и умолк.

— Тридцать лет Анисья. Ну, чего оставил, говори.

— Да так просто.

— Просто и чирый не садится.

— Ты же понимаешь, — снова вздохнул Поднебесный.

— Ничего не понимаю. Чего уставился? Иди на свою Лизку уставляйся. Не смей так смотреть на меня! — Анисья шагнула в сторону.

— Постой, постой, — он схватил ее за рукав, но она сердито дернулась и пошла от него.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В семье Поднебесных сохранилось предание, будто их далекий пращур был отправлен заводчиком Демидовым с Урала на алтайские рудники — в наказание за свой строптивый, бунтарский нрав. В той партии, с которой его пригнали сюда, будто бы и фамилии еще никто не носил, были имена да клички: Ивашка, Афонька, Великие Лапти, Баран, Лысая Свинья, Голая Шуба... И будто бы горнозаводской начальник, посмотрев снизу вверх на верзилу, который возвышался над всей каторжной артелью, сказал:

— Государь Петр велел по фамилиям всех людей кликать. Вот тебе, добрый молодец, в самый раз подойдет фамилия Поднебесный. Нарекаю тебя! И куда ты только вымахал?

Все Поднебесные пошли в своего предка, были настоящие кряжи — и дед, и отец, и сам Серега. Правда, жили они издавна не в горах, а здесь, в приобской деревне Ивановке, где о рудниках и слыхом не слышать, но в семейное предание верили без малейшего сомнения.

Серега, как и Леня Кузьмин, был ровесник Дмитрия Чупина, но дружить они не дружили, потому что жили в разных сторонах Ивановки: Серега за ключом, за яром, разделявшим деревню на две половины, молодежь которых частенько враждовала между собой и даже устраивала драки, а Дмитрий — на этой стороне яра.

Серега был, пожалуй, самым видным парнем в деревне — рослый, угловато-плечистый, бойкоглазый и насмешливый. Волосы в беспорядке разбросаны по чистому лбу — Серега безуспешно воюет с их своеволием. После фронта появились в них редкие — едва ли кто и замечает — белые

ниточки... Из госпиталя Поднебесный вернулся чуть прихрамывающим, отпущен домой «по чистой», так что война для него уже кончена.

Анисья хорошо помнит молодость Сереги. Что ни лучшая девка в деревне — с той он и гуляет... Только липли к нему девчонки не на радость. Вот гуляет он с одной, пронесется слух о скорой свадьбе — и вдруг все разохлось, и Серега уже с другой, и с той такой же конец, а он третью уже провожает с вечорок. После него к этим девкам никто уже из добрых парней и не подходит. Глядишь, одна из них выскочила замуж за вдовца из дальней деревни, другая в город уехала, третья «заметалась» с парнями и мужиками... А все-таки не прошло это даром Сереге: нарвался-таки он на свою судьбу. Пошутить захотел с Лизкой Изотовой, старой и некрасивой девкой, из богатеньких. Да и увяз: женила она его на себе. Слух шел, что после свадьбы будто бы улизнуть от нее хотел Серега, но не выгорело. Тесть пригрозил расправой — и он притих. А потом ребенок появился... Серега с семьей в город все-таки подался, вольницы попробовать, но перед войной вернулся, говорят, Лизка перетянула.

Анисья вспомнила некрасивое Лизкино лицо, ее грубый, почти мужской голос, какие-то вывернутые ноги с большими лапами. «Живи вот теперь и наслаждайся, — мстительно думает она о Сереге. — Отливаются кошке мышкены слезки».

Ей не хочется идти к Поднебесному с просьбой, с поклоном, но другого выхода нет. Был бы дома Филатов — попросила бы у него сельсоветовскую лошадь, но его нет, страдает где-то на дальних покосах. А мясо надо везти, пока не испортилось.

Подремав два-три часа, Анисья поднялась и вышла из избы. Был тот час, когда еще «черти на кулачках не быются». Под горой, в тумане, изредка попискивали болотные птицы, бормотали лягушки, стучало ботало. Улицы тихи и пустыньны: даже собственные шаги по глинистой твердой тропе можно слушать. Анисья спустилась в яр, всполснула холодной ключевой водой лицо, вытерлась платком и поднялась на Заключную улицу. Почти через всю деревню надо шагать к Поднебесным...

Анисья стукнула в раму, и кто-то отозвался с кровати. Потом в окне что-то забелело.

— Кого носит в такую рань? — донесся Лизин голос.

— Мне Сергея Григорича. Пусть на минутку выйдет.

Пока Лизавета будила мужа, Анисья слушала, как во дворике, за углом дома, звучно хрумкает траву бригадирский Игренька.

Серега вышел в накинутом на плечи пиджаке — высокий, плечистый, важно-спокойный и как будто чуть недовольный, что его так рано подняли. «Знает свою мужскую цену... Не зря девчонки убивались», — подумала Анисья, глядя на раскиданные по чистому лбу клоchy темных тугих волос.

— Это ты, Оня? — лицо его сразу оживилось, куда-то девались сонливость, важничанье, едва приметная кислинка в уголках губ. — Что случилось? — в голосе угадывалась неподдельная тревога.

Анисья рассказала о своем горе.

— Где тонко, там и рвется, — посочувствовал Серега. — Найти бы этого разгильдяя, платить бы заставили.

— Где его сыщешь? Издали только машину видели, номер не знают. Шары-то ему застило, гаду, поди, вином залил.

— Как бы нам сделать? — Серега пригласил Анисью вместе обсудить создавшееся положение. — Лошадей, сама знаешь, почти нет, раз-два и обчелся... Бычишка дать? Пропилишь на нем полдня — какой базар? Разве с пожарки конишка снять? Филатов съест. Да и нельзя на самом деле — сушь стоит, еще, на нашу беду, загорится где-нибудь.

Он раздумывал, что-то соображал — Анисья ждала.

— Ладно, — наконец сказал он весело. — Для тебя... я своего Игренька дам.

— Зачем же своего? — испугалась Анисья.

— А что тут такого?

— Мало ли что люди подумают.

— Плевать мне на это! К обеду вернешься?

— Если распродам.

— Мясо сейчас в цене, лето. Должны расхватать.

Сергей запряг Игренька, вывел подводу со двора. Конь сразу узнал Анисью, потянулся к ней губами.

— Только под гору держи его, — наставлял Сергей. — Шибко боится, когда телега накатится и начнет по ногам бить, взбесится и понесет.

— Знаю! — отвечала Анисья. — Ездила.

Но Серега не отступал с советами:

— Будешь с горы спускаться — тормози. Путо сними с шеи и захлестни колесо.

— Да знаю, знаю, ученая. Не впервой на нем.

— Вернешься — приведешь ко мне в ограду, распрягнешь и привяжешь к траве. — Ну, счастливо! — Поднебесный махнул рукой, оскалился белозубым ртом.

— Ладно, поехала, — сухо ответила Анисья, не задержав взгляда на своем благодетеле. «Не буду в спасибох рассыпаться, пусть не думает чего лишнего, выбросит из головы, если что держит...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поднебесный минуту постоял на улице, провожая глазами Анисью и докуривая сигарку из самосада. Он радовался, что смог помочь Анисье и этим хоть немного сблизиться с ней, сгладить ее всегдашнюю... враждебность — не враждебность, а какую-то дурацкую неприступность, уросливость.

Петухи горланили «подъем», но деревня еще досматривала сны. Ложиться, пожалуй, не стоило. «Семен, конечно, уже в конторе», — улыбулся Поднебесный. Зайдя в дом, он постоял посреди избы, поглядел на спящую Таньку («вылитая Лизка») и все-таки прилег еще на кровать рядом с женой.

Она не спала. Пока Сергей запрягал для Анисьи коня, она стояла в сенях и подслушивала их разговор. Правда, успела схватить не все. Когда же Сергей вывел подводу со двора, Лизавета из сенок перешла в кухню, но, боясь показаться в окне, встала за косяк и украдкой выглядывала в улицу. «Любезничают», — со злостью думала она, и ее так и подмывало выбежать и накричать на Анисью. Услышав стук отъезжающей телеги, она шмыгнула под одеяло. Теперь, когда Серега молча лежал рядом с открытыми глазами, ей не терпелось заговорить с ним.

— Куда ты ей дал лошадь? — спросила она.

— Ты не спишь? — ответил Серега.

— Да какой уж сон.

— Самый сладкий сон на зорьке.

— С тобой уснешь...

— А что?

— Ни свет ни заря прилетела, пожар, что ли?

— Корову у нее машиной задавило. Вчера вечером.

Лизавета сразу и не нашлась, как расценить это событие: или посочувствовать Анисье, или, наоборот, осудить ее за недогляд: дескать, надо не за мужиками посматривать, а больше за домом, за хозяйством. Правда, попрекнуть Анисью мужиками нельзя было, сколько живет без Митрия, ничего плохого о ней не слышно. Ну что

же? В голове-то у нее никто не был, а там, поди, одни мужики... Шарами своими вертеть умеет и из себя вон какая — любого с панталыку собьет.

— Что это она у нее шляется, корова-то? — наконец вымолвила Лизавета.

— Не шлялась, в табуне шла, приотстала.

Лизавета смягчилась:

— Вот горе-то... Она что, за коровой поехала?

— Нет, корову вчера еще оснимали. Поехала в район, к прокурору, с жалобой, — приврал Серега.

— Могла бы и пешком, не больно какая начальница.

— Тридцать верст.

— Ну и что? Не развалится. И не убудет ее.

— Ох, Лизавета, почему ты такая? Тебе должность дай — всех подчиненных заела бы.

— Да уж у меня не раскатывались бы всякие на бригадирской лошади.

— Тятенька ты родимый, голимый тятенька! Тот всех ненавидел.

— Ты отца не тронь! И не мылся к этой пучешарой Анисье.

— А почему ей не дать коня? Первая работница в бригаде, сама знаешь.

— У тебя все хорошие, кроме жены.

Нельзя было продолжать разговор — назревал очередной скандал, и Поднебесный не ответил на последние слова жены, встал с кровати, вынул из пиджачка кисет, зашуршал бумагой...

Вскоре он шагал в контору.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На базар Анисья взяла с собой мать: одной с мясом не управиться, вон его сколько — не овца и не курица, а корова. Да и у рук никогда такого дела не было: всегда, когда случалось продавать баранишка или овцу, мясо возил Митя. Продавали от нужды, от своего рта отрывали — копейка позарез нужна была.

Торговец Митя никудышный. Анисье не забыть, как они избу продавали. Холостяком Митя жил в отцовском доме, в семье старшего брата Федора. А когда женился, другой его брат, Лука, бездетный, служивший в городе в милиции, отдал молодоженам свою избу, стоявшую заколоченной около яра.

Но недолго пожили они в своей избе. Колхоз на этом месте решил дворы строить. Перевезти и поставить вновь домишко у

Чупиных не было сил, а колхозу требовались готовые постройки для бригадных станков, и Митя с Анисьей решили продать свое гнездо, временно пожить у Анисьиных родителей Дроздовых.

Пришел к ним член правления и бригадир Алеша Саломатин. На селе он считался большим грамотеем. Человек очень уважительный, ласковый: все молоденькие да и не очень молоденькие у него «Петеньки», «Глашеньки», «Уленьки», ну, а старичков он, конечно, по имени-отчеству навеличивал.

— Ну, Митенька и Онечка, как же с избой? Окончательно решили продавать?

— Да как будто, — пожал плечами Митя.

— Меня правление послало срядиться.

Молодожены о цене еще ни между собой, ни со старшими не советовались — появление Алеши с такими полномочиями оказалось для них совсем неожиданным.

— Сколько вы за нее хотели бы?

Митя снова пожал плечами и с надеждой посмотрел на Анисью.

Она молчала.

— Да я гляжу, вы еще и не прикидывали?

— Нет, — ответил Митя.

— Тогда вот что: идите-ка в сенки пошепчитесь, а я подожду.

— И правда-то, дядя Алексей, — обрадовалась Анисья.

В полутьме сенок Митя долго скреб в затылке, лицом кривился, как будто предстояло ему не веселое обладание кучкой денег, а какое-то мучительное объяснение за незаконные и неблагоприятные дела.

— Дак сколько же будешь просить?

— Полторы сотни хватит? — робко произнес Митя.

— Да ты что? За такой-то дом? Ох, Митя, я гляжу — простофиля ты.

— Да не стоит она больше, наша изба, Онька! — зашептал Митя. — Углы подгнившие, крыша кое-где вот-вот провалится, тес позеленел уже, подоконники некоторые тоже заменять надо.

— Дурачок! — улыбнулась Анисья. — Свое-то избу разве можно хоманить?

— Я по правде, зачем обманывать. Ведь обществу продаем, колхозу, а не барышнику.

— Вон Козловы за свою триста сдержали.

— То Козловы...

— Проси и ты столько.

— Ну, загнула ты, Онька!

— А что? Небось, дадут. Вон Козловым выплатили.

— Ну, куда зачихнула?! — возмущается Митя. — У меня язык не повернется столько просить.

— Цены ты своему добру не знаешь, Митя. За свое-то разве стыдно просить?

— Тогда проси сама.

— Какая я «сама»!

Они вернулись в избу. Митя прятал глаза, не смел прямо и открыто глянуть на Саломатина. Анисья присела в кути на лавку и начала перебирать горшки, а зачем — и сама не знала.

— Так как же решили? — спросил Алеша.

Проходит тягучая минута — Митя молчит. И Анисья неловко вперед мужа с языком соваться.

Алеша опять спрашивает:

— Ну, вы посоветовались? Говори же, Митенька, цену свою, я жду.

— Да вот думаю... — Митя чешет лоб, кривит губы, словно кислое что-то съел. — Думаю.

— Думать надо, — подбадривает его Алеша. — На то человеку и голова дадена.

— Сотни полторы не много будет? — изрек наконец Митя и осмелился поднять глаза на Алешу.

И тут Анисья не выдержала.

— Ох, дядя Алексей, ничего мы не знаем! Сколько дадите, столько и ладно. Вы же знаете нас, мы недавно сошлись, живем — ни куренка ни ягненка... Посмотри, на чем спим: потник тятя скатал, на нем и вертимся, доски в бока впиваются! Ему полушубок надо справлять, сапоги, у меня обужи нет, скоро покос, а мне ехать туда не в чем...

— Хорошо, хорошо, Онечка, не шуми, все знаю, все понимаю. Ваш дом две с половиной сотни стоит. И правление утвердит такую цену.

— Стоит, стоит, — подтвердила Анисья. — Он не хуже козловского.

— Ну вот и договорились. Так и запишем. — Алеша достал из-за голенища свою записную книжку, которую все почему-то называли «поминаньем», вынул карандаш, снял с него блестящий наконечник, помусолил «химическое» сердечко и сделал запись.

— Об чем разговор! Дольше молчали, чем рядились. Значит, так: на заседании утвердят — придете за деньгами.

Ах, добрая душа Алеша Саломатин! Как он правильно все рассудил! А от Мити схлопотала тогда Анисья выговор. Ушел бригадир — Митя долго молчал, хмурился. Надо бы радоваться, а он бычится.

— Митя, ты чего это дуешься? — как можно ласковее спросила Анисья. — Что, лишняя сотня руку колет?

— Не из-за этого. Зачем ты разнылась? Потники всякие начала собирать, обушки...

— А пусть знают.

— И без слов твоих всем известно, как мы живем. Раззвонилась... Не смей никогда ныть! Подумаешь, перины у ней нет, бедато какая! Да на черта она нам, перина, мы и на потнике проспим, не большие господа...

— Ну прости, Митя, виновата, — она подошла и положила ему руки на плечи, поглядела в глаза. — Не буду больше.

— Нельзя, Оня, казанской сиротой прикидываться. И жадничать. Жадность сердце может изглодать, всю душу испакостить, так меня отец учил. Мне вот, к примеру, ничего не надо...

— Совсем-совсем ничего? — засмеялась Анисья.

— Только бы ты была у меня. — Митя, наконец, улыбнулся, потянулся к ее лицу губами.

— А все-таки мы сносно продали дом.

— Лишнего взяли.

— Не говори!

— Мне, пожалуй, стыдно будет такие деньги брать.

Стыдливость у Мити порой — через меру. Надо попросить на складе муки или что-нибудь занять у людей — его не дошлешься: будет на картошке сидеть, а просить не пойдет. За долгом его тоже не отставишь, стыдно, видишь ли, ему. Это свое-то спрашивать стыдно? А народ ведь всякий, другой возьмет займы и не отдает, тянет и тянет, как говорят: «Дашь руками — походишь ногами».

Но Анисья, кажется, даже и за эту чрезмерную стыдливость и робость любила мужа. А особенно за его кротость, великую сдержанность и терпимость. Замуж она выскочила семнадцати лет, не успев в родительском доме научиться многому, что надо знать и уметь хозяйке. К печи мать ее не допускала («Успеешь еще огорбаться!»), и, став хозяйкой, она не умела ни варить, ни стряпать. То у нее выходило кушанье недоваренное, то переваренное, то — недосол, то — хоть прочь выливай, соль одна... Со страхом глядела Анисья на мужа, когда ставила перед ним свои неудавшиеся супы и каши, а он ничего — ест, хлебает, помалкивает, порой даже и усмехается чуть-чуть.

По холодку Игренька шел веселой спорой рысью. Но занимавшийся день не дремал. Пока доехали до Шелаболихи и заклеили мясо, солнце успело подняться до

крыши элеватора, присело на ней, посидело, оторвалось и полезло выше.

На базарчике было еще безлюдно.

Мясо не успели распродать все: к девяти часам, когда начинается рабочий день, людей как будто ветром выдуло с базара, остались какие-то старухи да мальчишки. Непроданное Анисья сдала в мясозаготовку, в заготконтору — и за Дроздовых рассчиталась. Телка у нее нынче нет, еще маленьким решил, а мясо все равно потребуют. Рассчитаться — и делу конец.

Получив квитанцию, Анисья двинулась домой. Теперь и по жаре конь бежал хорошо. Под брюхом у него потемнело, и на холках пот выступил темными крапинами, словно кто сек по этому месту мокрым прутом.

— И скотина дом понимает, вишь как бежит, — сказала мать.

Анисья опять вспомнила Митю. Далеко он от дома, а душа-то, поди, болит о нем... Ничего он не знает о Ветке, да и писать ему о ней не надо. Зачем?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В школу Анисья ходила только один год. А в том, что она перестала учиться, виновата была крестная тетка Марья, материна младшая сестра.

Оню Дроздову и Физу Петрову, девочек, выделявшихся в классе своими успехами да и миленькими мордашками, приблизил к себе законоучитель отец Василий, молодой поп с ясными голубыми глазами, с каштановым, раскиданными по плечам кудрями, с миленькой курчавистой бородкой и ослепительной улыбкой. Он повадился провожать Оню и Физу до самого дома: возьмет за ручонки и ведет по всему селу, разговаривает, шутит, смеется.

Онька возгордилась своей близостью к «самому отцу Василию» и однажды дома похвалилась при тетке Марье:

— А меня опять отец Василий до дома довел!

Не подозревала Онька, что с той минуты жизнь ее делается невыносимой. На завтра же тетка Марья (она в то время еще в девках ходила) спросила:

— Онька, и о чем это вы с попом говорите?

— Обо всем, — ответила Онька, не чувствуя еще никакого подвоха.

— Он, поди, взамуж сватает? — вдруг спросила тетка Марья.

— Прямо-то! — сердито отмахнулась Онька.

— Ну, чего скрываешь, скажи, мы не против. Взамуж дак взамуж, пусть сватов высылают, — тетка Марья с улыбочкой хитрыми глазами смотрит на мать. — Отдадим Оньку за попа?

Онька вся краснеет, до корешков волос.

— Не пойду! — кричит она.

— Это почему же? — не отступает тетка Марья.

И тут до Оньки доходит весь издевательский смысл, весь дьявольский тон тетки Марьиных речей. Она замыкается, убегает в горницу и закрывает двери на вертушку.

Но разве тетка Марья отстанет? Теперь она ежедневно задает Оньке вопрос:

— Ну, как ты сегодня, Онька, погуляла с отцом Василием?

— Никак, — буркнет Онька и скроется в горнице.

Поп продолжал водить подружек за ручки, но теперь, после едких теткиных улыбок и слов, Оньке уже неприятно было его внимание, шла по селу она робко и стыдливо, поминутно озираясь по сторонам, — боялась с теткой встретиться. Приходя к Дроздовым, тетка Марья теперь спрашивала:

— А где ваша попадьа?

Ведь сама своими глазами видела Оньку, лежавшую с букварем на полатах, а все равно задавала свой гадкий вопрос, выкомурировала. Но вслед за этим шло еще более ехидное:

— Ну, здравствуй, здравствуй, молодая попадьа Анисья Тимофеевна!

Онька была по протянутой теткиной руке, гневно бросала:

— Отвяжись! Сама попадьа! — Большие серые глаза девочки кидали гневные молнии.

...Это случилось зимой. Вся заколдованная, прибежала Онька из школы и сразу же забралась на полати. Тетка Марья, которая жила неподалеку, не замедлила явиться. Едва закрыв за собой дверь, громко спросила от порога:

— А ваша попадеюшка, небось, на полатах сидит?

Не успела гостя встать на цыпочки, чтобы заглянуть на полати, как оттуда высунулись две тонкие ручонки, мигом сорвали с нее шаль и вцепились в волосы.

— Ой-ой! — сквозь смех кричала тетка Марья. — Хватит, Онька, хватит! Больно же, отпусти! Сдурела, что ли?

С этого дня Онька старалась незаметно улизнуть из школы, чтобы не идти с попом.

Прошло лето. Осенью Оньке надо было записываться во второй класс, но когда ей

сказали об этом, она потупилась и прошептала:

— Не пойду я в школу, — и заплакала.

Дело было за обедом. Отец положил ложку, строго глянул на дочь: дескать, объясни почему.

— Не хочу, — ответила Онька.

— А и правда-то, дочка, зачем идти? — ободрила девочку мать. — Вон Ванька родился, нянчиться надо. Матери облегчение сделаешь. А грамота девочке зачем? Прясть и ткать можно и без школы.

Так и закончилось ее ученье. А боялась школы она напрасно: в этом же году белых прогнали, отца Василия не стало в селе, исчез куда-то, а в школу прислали молодую учительницу. Как тянуло Оньку за парту, за книжки! Но надолго стала она домашней нянькой: ребятишки в доме появлялись на свет часто, многих из них «бог прибирал», однако некоторые выжили: Андрей, Тимка, Ванька, Катька.

Натерпелась Онька укоров и побоев. Чуть что случится с ребенком — виновата она: запоносит — обкормила, пойдут по телу пупыри и чирьи — простудила, ревет ребенок, не спит — испугала... В доме только и слышны окрики: «Онька, убери!.. Онька, подотри!.. Онька, смени пеленку!» Онька — туда, Онька — сюда... К окрикам она притерпелась, горя мало, но вот колотушки материны сносить обидно. Рука у мамки костлявая, сунет казанками по загорбку — синяк вскакивает. А шибко рассердится — за волосы крутнет, долго это место горит потом, будто кипятком ошпаренное.

Ребятишки росли какие-то неладные — крикуны, капризные да сопливые, нянька, сама почти ребенок, от крика знала только одно средство: сунуть в рот «песельника» тряпичную соску с жамками или рожок с молоком. Бывало, молоко уже обратно польется — изо рта, из носа и вроде даже из ушей, — а крикун все не унимается, знай себе поет да поет.

— Ну, песельник, ну, песельник, — сердится Онька. — И чего тебе только надо? Она не знает, что делать с ребенком, а спросить не у кого: все на пашне.

Однажды Ванька захворал. Жаром пышет от него, как от железной печки. Матери следовало бы остаться дома — так нет, полосу поехала дожинать. Ванька дышит тяжело, со свистом, в рот ничего не берет, лицо побелело — бумага чистая, глаза посоловели. Сидит Онька около братца, плачет. Посмотрит в глаза: Ванька их то под лоб уведет, то опять выкатит, в потолок

оставится и глядит остекленело. Умирает... Оньке страшно. Кинулась из дому, прибежала к дяде Василию, в соседний переулок, тот как раз с пашни приехал, снопы привез. «Дядя Василий, езжайте к нашим скорей, Ванька часует». — «Вот снопы сброшу — поеду». Не стала Онька дожидаться, ни минуты не могла постоять, бросилась в поле. Бежит, запинается, падает, встает, снова бежит... «Ох, умрет, не успею». В горле все пересохло, солоно во рту. Как увидела на поле своих — в голос заревела. Отец быстро запряг Юлку, примчались домой. Зашли в избу — и что же: Ванька сидит на полу, верхом на старом отцовском обулке, натянул веревочки, как вожжи, причмокивает губами и посвистывает: «Но, но!» Обуток у него, видишь ли, конь ретивый.

— Обманула! — накинулась на Оньку мать.

— Часовал! Истинный бог! — Онька перекрестилась и в душе пожалела, что Ваньку не прибрал бог.

Не забыть ей другого случая, с Катькой. Родилась девочка перед сенокосом, и мать не решалась такую маленькую оставлять с Онькой — брала с собой на покос. И зыбку туда привезли, подвесили в балагане. Пока мать работает, Онька должна качать ребенка, аукать ему, усыплять песенками, а захочет Катька есть — нести к матери.

Катька еще ничего не понимала, много спала. Нянька не сердилась на нее, хорошая сестренка: даже плакать не умеет как следует, если что у нее неладно или если пососать захочет — только закричит. Вот так однажды после сна и запокряхтывала Катька. Быстро завернув ее в стеганое толстое одеяло, Онька понесла сестренку к матери. А семья косила уже далеко вата от балагана. Идет Онька напрямик, по траве бредет, от солнышка жмурится, головой мотает, отгоняя паутов; то цветочком залюбуется, то птичку послушает... Подходит к матери:

— Мам, покорми Катьку, она что-то расстоналась.

Мать приняла ношу, развернула одеяло. Онька глазами хлуп-хлуп, не верит себе: что такое? Катьки-то нет, пусто в одеяле. Куда делась? Неужели в зыбке осталась? Но Онька хорошо помнит, что завертывала Катьку.

— Мам, мам, — испуганно залепетала она. — Я несла, вот те крест — несла!

— Нашла шутку! Со своей ровней пошутит. А ну беги к балагану! Оставила ребенка одного.

— Мам, я несла ее. Дорогой потеряла, выронила.

— С ума сошла. Правда, что ли?

— Ей-боженьки, несла!

Мать даже забыла тукнуть Оньку по загривку — так испугалась. Кликнули отца, который шел по проколу впереди, и втроем пустились на поиски. Нашли Катьку в высокой траве — спеленатая, она спокойно спала около кочки, и солнце хорошо пригревало ее...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вернулись в Ивановку уже после полудня.

Подходя к дому Дроздовых, увидели на дворе, на лавочке, какого-то человека.

— Бродяжка к нам, — испугалась мать. — Ждет хозяйку.

Человек, кажется, спал, подставив заросший пестрый подбородок солнышку. На нем была выцветшая и застиранная военная гимнастерка без пояса, синие латаные штаны, галоши, одетые на босу ногу и привязанные веревочками.

— Что за гостенек? — шептала мать, не решаясь входить в воротца. Человек, видимо, почуял остановившихся женщин, сел на лавочке и посмотрел в их сторону.

— Ну, чего встали? Испугались? Неужели я такой страшный? — заговорил он тихим, жалким, дрожащим голосом, в котором Анисья смутно угадала что-то до слез родное, близкое.

— Заходите, не бойтесь! — снова сказал человек и, взяв костылек и опираясь на него, захромал к воротцам. Тревожная догадка мелькнула у Анисьи. Она распахнула воротца и шагнула навстречу человеку.

— Тятя! — крикнула она, но вдруг опешила, остановилась: ее снова взяло сомнение.

— Я, я, дочка! Что, не признала сразу-то?

И Анисья увидела добрые голубые глаза отца, теперь слезящиеся, бросилась к нему, обняла, прислонила голову к его груди. Сердце у нее заходило, заворчалось, веки слезами набрякли. Она подняла голову, сняла руки с плеч отца и, вытирая слезы, пристально посмотрела в лицо его. Ввалившиеся щеки обросли пестрой щетиной, виски пожелтели, а губы без кровинки, синие.

Отец подошел к матери, положил руку ей на плечо. Та стояла неподвижно, будто оглушенная, прибитая.

— Вот я и вернулся, Федосья, встречай. По болезни отпустили.

И опять Анисья почувствовала, что голос хотя и тятин, но совсем-совсем не живой, в нем ни веселиночки нет, зато есть что-то детское, беспомощное. Мать спросила наконец:

— Да как же это ты, Тимофей?

— А вот так... Пришел вот, лег на лавочку и говорю: «Ну, казак не без доли — хоть умрет дома...»

— Да что с тобой?

— В госпитале лежал, почки болят и нога, старая рана открылась. Думал, не отдрыгаюсь, не увижу больше родной стороны, а вот ведь еще доковылял... От города как слез с поезда, сто верст две недели тащился.

— Ах, горе наше, горе, — вздохнула мать. — Ну, пойдемте в избу-то, чего стоим. А я сегодня сон-то какой видела. Будто петух на грядки зашел, я за ним, за ним, поймала, а он крыльями давай бить по глазам мне, прямо по глазам...

Зашли в дом.

— Кондраха Антонов писал, что он в сапожной мастерской и что жить можно и в рабочем батальоне, — сказала мать.

— Кондраха жук, вот и живет. Приходил он как-то ко мне, хвалился.

— А ты уж не мог с ним вместе пристроиться?

— Ох, мать, век прожили, а ты меня так и не узнала. Не умею же я ловчить, выгадывать, подмазываться. Куда послали, туда и пошел, топором работал. Катя-то где, дома, что ли?

— Она ведь у нас на учительницу поехала сдавать, в Камень. Уж третья неделя как уехала, скоро вернется.

— Ну, дай бог.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Отец начал расспрашивать о письмах сыновей. Не было сейчас дум более тревожных и неотступных, как о детях, ушедших на войну. Трех сыновей отправили Дроздовы в армию. На старшего, Андрея, еще осенью его жене Клавке пришла похоронная — под Москвой голову сложил. Ушла Клавка из их дома, у сестры теперь живет, вольной себя чувствует, крест на Андрея поставила, а здесь, в доме Дроздовых, все еще плачут по нем, ждут каких-то утешительных вестей. Вот и опять мать фартуком глаза трет...

Андрей рос неприметным, смиренным — не слышно его нигде. С малых лет в работе. Косить семилеткой начал, чуть поверх тра-

вы головенка торчит. Одна радость была у него: кони. Готов ночевать во дворе вместе с лошадью. Особенно с Серком неразлучен был. Конь старый, спокойный, все понимающий. Андрюшка под брюхо ему подлезет, чешет, щекочет, между ног пройдет, за хвост возьмется, потянет... Серко только ушами шевелит — доволен. Повернет голову, уставится глазом: «Что это за козявка у меня под брюхом ползает?» Андрюшка принесет ему хлеба чуть не целую булку (мать не ругала за это), сует в рот, а конь осторожно обшарит кусок одними губами, будто скажет парнишке: «Береги пальчики».

Досталось Андрюшке на своем недолгом веку тяжелой работухи. В колхозе на лесозаготовках бревна ворочал. На первых тракторах работал. Бывало, намерзнется у трактора, начертотомелится (рукоятку-то — ее надо покрутить), придет домой с ног до головы измазанный, только успеет скинуть верхнее — сразу на печь или прямо на полу растянется. И — как мертвый. А во сне тяжело стонет. Сверстники его, смотришь, в нардом пошли, по молодым делам, а ему не до этого, отоспаться бы успеть до смены.

Но сильный был Андрюшка, шибко сильный, вспоминает Анисья. На бригаде соберутся парни бороться. Начнут те, кто помоложе да пожиже, потом дело доходит и до крепких. Андрей пока еще стоит в стороне, ухмыляется, с ним только напоследок самый дюжий схватится. Андрей не торопясь, без суеты, возьмет противника за опояску, приподнимет и, сам на землю повалясь, через голову бросит — у того только каблук сбрыкают...

С детства он недослышал, потому и был такой тихий, стеснительный, в сторонке все держится да помалкивает, будто нет его. А когда из-за глухоты ответит невпопад и поймет, что не то сгородил, покраснеет, плакать готов. В семье, бывало, еще кто-нибудь из парнишек назовет его по глупости «глухой тетерей», а на деревне никто этого не позволял, любили за смиренность, за честную работу и силу.

Когда Андрей совсем уже парнем стал, отец видит — худо дело, такому робкому и не жениться, и повез его в город к врачам. В семье это было радостное событие. Помнит Анисья, как отец барана самого лучшего положил на сани, крупчатки мешок. Вся семья за ворота вышла, провожая своих старших мужчин.

Доктор вырезал из уха хлебную ость (видно, на молотье попала) — Андрей стал нормально слышать, но характером не

изменился, видно, из телка не сделаешь волка. Сходил он в армию, в комсомол там записался, на людях вроде посмелее стал, а все равно быстро безответный, молчун...

И подошла пора ему жениться. Работал на тракторе вместе с Клавкой, девкой — шел слух — боевой, даже отчаянной. Приласкала, видно, она его, он и рад без памяти. Приходит домой: «Тянь, надо идти Клавку сватать, снаряжай послов». Отец почесал затылок, но ничего не сказал — не хотел обидеть Андриюшку. И стала Клавка Анисьиной сношенькой.

— Может, еще где и окажется, — говорила мать, вытирая слезы. — Ведь в той бумаге про могилу-то ничего не сказано, неизвестно, где он похоронен.

— Какие могилы, — сказал отец. — Тыщи людей валяются, каждого и не найдешь сразу, чтобы закопать... Ну, а что же Тимка? Пишет?

— С полмесяца как письмо было, — ответила мать. — Все у него хорошо. Уж до какого-то там старшины дослужился и, пишет, медаль ему повесили.

Отец не любил Тимку, все в доме это знали. Он и сейчас не очень обрадовался Тимкиным успехам, сказал суховато:

— Глядишь, еще человеком станет. Если голову не снесут.

— Да ты, отец, забудь про все старое, чего уж теперь... Сын ведь он наш... А по молодости лет чего не бывает? У самого-то все гладко шло в молодые годы?

— Я ничего — дай бог, как говорят. Мы не сумели, так добрые люди выучат.

И снова Анисья ворошит память свою.

Тимка был семейным горем и стыдом Дроздовых. Очень уж характерным рос: бывало, еще дитем — как рассердится, не подходи, схватит, что под руку попадет, бьет без разбору. Однажды Ваньке голову пестиком чугуном проломил, кровинку у того сколько вышло... А пошел Тимка в школу — дома чуть не каждый день жалобчики: «Ваш Тимка нашу Нюрку побил», «Ваш фулиган окно у нас выхлестал», «Тимка на нашем Пашке рубаху порвал»... Ни одна драка без Тимки не обходилась. Часто являлся он с синяками, с покорябанным лицом. Дома у него разговор только о потасовках: «Я ему ка-а-ак смазал! Брусника из носу...» Тайно от отца и матери он лил свинчатки и все искал в кладовке полуфунтовые гирьки.

На бригаде, в колхозе, тоже любил поозоровать. Устроил однажды такое: повыуживал из корзинок у женщин яйца, собрал архаровцев, свою бражку, и говорит: «Давайте яйцами в мишень попадать. Кто в самое яблочко угадает, тому яйцо в премию». — «Где ты их столько набрал, Тимка?» — «У матери спер». Начертили круг на дверях амбара. Все яйца побросали в него. Бабы приходят на обед, хватя за корзины, а яиц-то нету. Ну, Тимке опять и досталось на орехи.

Подрос он, семилетку закончил, уехал в город в ФЗУ, связался там с ширмачами. И достукался. Прислал письмо, что сидит, просил посылку. Мать собирает харчишки и слезами уливается. Вырастила сынка...

Вскоре Тимка вернулся. Он совсем испортился, все выходки блатяцкие. «Сука да «падла» — больше от него ничего и не услышишь.

Вот Ванька — тот умницей рос, сизмальства в книги ударился. Даже на пашню и на покос без книжки не едет. Что уж такое он в них находил? Учителя Ванькой не нахвалятся, отец-мать не нарадуются на него. Не успел десять классов закончить, взяли его из девятого и учителем поставили, да не к малышам, а почти к своей ровне, в шестой и седьмой классы. В седьмом-то некоторые ученики и ростом не ниже его, и годами не сильно отстали. В семье беспокоятся: кто же слушаться будет такого зеленого? И верно, первое время получались смешки и ужимки, сам Ванька об этом говорил. Та же Манька Коробкова — ведь играли с ней когда-то вместе — оконфузила однажды нового учителя: прямо на уроке выходит из-за парты, щупает новую его рубаху и говорит: «Иван Тимофеевич, толи она у вас шелковая?» Класс грохнул.

Но прошло немного времени, и дело у Ваньки наладилось, полюбили его ученики.

Когда Тимка пришел домой (блатяк блатяком), Ванька уговорил его учиться на счетовода (в сельпо искали такого человека), да не на курсах учиться, а дома по книгам. Ванька долго сидел с ним сам, вбивал в голову бухгалтерские премудрости. Счеты купили, брякали косточками по всем ночам. И стал Тимка счетоводом, потом бухгалтером. Никто от него такой прыти не ожидал.

Ваньке приглянулась приезжая учительница Дина Петровна, он все похаживал к ней. Но вот наперерез братцу кинулся Тимка. «Ничего там у Тимки не выйдет, — думала Анисья. — Разве такая умница будет с арестантом дружить?» А Тимка однажды

приходит домой и говорит: «Я хочу жену привести». — «Ты что, спятил? Какую жену? Кого ты надумал брать?» — «Дину Петровну». — «Что ты, Тимка?! — говорит отец. — Куда замахнулся? Не пойдет она за тебя. По себе дерево руби». А Тимка посмеивается: «Не думал я жениться, для понту языком лякнул, но раз вы не поверили, то теперь женюсь в натуре. Завтра же! Готовьтесь свадьбу играть».

Вот ведь какой хлюст. Девке голову задурить может, даже такой недотроге, как Дина Петровна. Назавтра же привел он ее домой. Свадьба была шибко громкая. Полдеревни гуляло. Уехали вскоре молодожены в районное село. Тимка там бухгалтером в райзо устроился, по всем колхозам ездил, вроде ревизора. «Вот так Тимка», — удивлялись родные. Но, видно, какая зараза сидит в ком, не скоро ее вытравишь. Тимка и раньше баловался винишком, а как денежки завелись, вовсе по-дурному зашибать стал. И однажды пьяный заехал кому-то по очкам. Все пошло прахом — сняли голубчика, а потом на фронт ушел.

Ах, жалко их всех... Разные они, братья, как пальцы на руке, а сердце одинаково болит о каждом — и об Андрее, и о Тимке, и о Ваньке (где-то тоже в армии, на лейтенанта учится)... И очень не хватает Мити, пусто без него. Да, обо всех о них думаешь... Теперь вот еще и о тятя: совсем плох.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Мать на таганке поджарила картошки, наварила яиц, сходила в огород и сорвала редиску (Мишка, внучек, не успел добраться), драники на стол поставила, чайник с загнетки достала.

— Ну, будем обедать, вставай, отец.

Анисья спохватилась:

— А с чем чай-то пить? Сбегаю-ка я к Сазоновым, Гришка, говорят, недавно мед качал.

Она быстро вернулась с полной кринкой душистого жидкого меда, налила в тарелку, сама села обедать.

— Вот спасибо, дочка, — повеселел отец. — Мед — это мое лекарство.

— Ешь, тятя, да поправляйся. Жаль, мясо-то все свезли, знать бы, что придешь, оставили бы, на лед в ямку положили.

— Нельзя мне мясо-то шибко. Тяжелое оно для меня.

— Все можно. Не слушай ты никого, ешь все подряд.

— Кабы в пользу оно.

— Да мы все достанем, что захочешь.

Я вот деньги маме оставляю, пусть тратит, не жметя.

— А-а, что теперь за эти деньги купишь! — посетовала мать. — Да и надо бы приберечь их на телку. Или на налоги.

— Проживу пока без телки. Тятю надо поднять. А молочка захотим с Мишкой — у вас возьмем, поди не откажете.

Она все поглядывала на отца, на его истончавшие пальцы, и ей хотелось плакать, глаза щипало, но она держала слезы в себе, за припухшими веками. Отец ел без охоты, и съел совсем чуточку, как дите малое.

— Мед-то хоть ешь, тятя. Вот этой, хлебальной ложкой доставай.

— Да я мажу на лепешку.

— С ложки ешь! Очень полезный он, со всех трав...

Вылез отец из-за стола и опять на кровать лег. Анисья глянула в окно: через дорогу шли, направляясь в дом Дроздовых, Марья Чернова, жена стройбатовца, и Анастасия Антонова, Кондрахина жена. «Уже узнали о тятя, бегут», — подумала Анисья.

Тятя, ты хоть сядь на кровати-то, бабы идут.

Женщины по ручке с отцом поздоровались.

— С возвращением, Тимофей Андреевич! А вас, Федосья и Анисья, с радостью.

Да, с радостью...

Уходила Анисья от родителей вечером, когда люди уже вернулись с покоса. Она перешла через яр и, миновав узенький проулок, завернула к Кузьминым. Как только вышла в улицу, из-под взвоза показалось стадо коров, и она поискала глазами Ветку. Но вдруг вспомнила, что ее уже нет.

Леня Кузьмин на своем дворе освободил спину коровы от свищей. Буренка выгибала хребтину, но не убегала, стойко выдерживая хозяйскую заботу и ласку. Анисья рассказала о поездке, о прибытии больного отца и попросила не передавать в сельсовет акт о падеже Ветки.

— Ладно, — ответил Леня.

А коровы брели и брели по нагретой пыльной, обрызганной свежими лепехами улице, мимо домов и палисадов, мимо пламенеющих под зарей окон, по одной, по две тянулись, а то и большей компанией, отягощенные широкими, тугими, точно барабаны, боками. Осторожно ступали они крепкими широко расставленными ногами, боясь помять распертое молоком вымя, охраняя его длинными, то и дело взмахива-

ющими хвостами. Глаза у кормилиц были сытые, посоловевшие, полусонные.

Чтобы не растравлять душу, Анисья не смотрела на коров. Стадо наконец прошло, пыль улеглась, Анисья приблизилась к своей избе, увидела пустую стайку, села на завалинку у сеночных дверей и расплакалась.

Подошла почтальонка Васеня Пахорукая, жена пастуха, присела рядышком.

Анисья вытерла слезы.

— Пришла вот к тебе, — сказала Васеня. — В суд на моего подавать будешь? Из-за коровы?

Анисья промолчала. Ну, придумала же Васеня! С кем думала?

— Какой там суд? Что я с вас возьму — горсть волос? Я уже продала мясо-то.

— Ну, спасибо, Анисья, добрая душа, дай тебе бог счастья, да чтобы Митя вернулся... Он ведь, мой Коля-то, не виноват. Разве за каждой коровой набегаешься, их вон сколько, а у него ноги-то больные, простуженные, а лошадь Пономарев не дает, говорит, ты не колхозный скот пасешь, а членский.

— Где теперь ее взять, лошадь-то? Которые получше были — в армию сдали, а что остались — каждая кляча на счету.

— И то правда, — согласилась Васеня и вдруг тоже начала тереть глаза. — Так я передам Коле-то, чтобы не горевал, а то ведь он совсем разладился, хотел работу бросать.

— Передай, пусть пасет, как пас. Никуда я на него не буду жаловаться. Чего уж...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Два дня над селом, над пашнями и покосами стоит липкая сырость и духота. Воздух так насыщен влагой, что у мужиков не разгораются, тухнут сигарки, приходится прижигать их по нескольку раз. Люди потеют, одежда липнет к телу. От стогов и копен то и дело направляются на стан, к шалашам и палаткам посыльные с ведрами — воду быстро, с жадностью выпивают.

Кажется, небо при такой сырости воздуха должно быть плотно прикрыто темными набрякшими тучами. Но их нет: в вышине с веселой непринужденностью движутся тонкие затейливые облака, да и они идут не сплошным потолком, а разорванными, с синеватыми лоскутьями, строем.

Люди ждут грозы.

Бригадир Сергей Поднебесный остановил конные сенокосилки, ручную косьбу — всех людей бросил на складирование сена:

«В долгах — не деньги, в копнах — не сено!»

— Сгноить кошенину? Да такого нам никто не простит! Свой же труд загубим! — говорил Поднебесный на летучем совещании после завтрака. — Давайте-ка, бабоньки, поднажмем.

И бабоньки весь долгий день ворочают сено граблями и вилами. Лица их розовые, словно они только что побывали в парной бане, жилы на руках набрякли, бегут темными дорожками-тропками.

Поднебесный то пешком ходит, то на ходочке ездит от звена к звену, поругивает медлительных, подмигивает вдовушкам, которые побойчее, сам берет в руки вилы...

— Еще денек, ну, два, и все сено ухватим!

Он скалит свои белые крепкие зубы, трясет темными, разметанными по лбу волосами, в которых запутались сухие былинки и листочки, — и бабы сердца млеют под его улыбкой, а руки крепче сжимают черенки граблей и вил. Любят женщины своего красавца бригадира!

В одном из звеньев старшей — Анисья. В руках у нее вилы-четырёхрожки. Тяжелая эта работа — ворочать вилами сено, не женская, да что поделаешь: мужиков в бригаде не стало. Сегодня с утра звено идет метать.

— Ну, бабы, пошли пупы надрывать, — громко возвестила Манька Коробкова, работающая в Анисьином звене.

— Грыжи да почечуи наживать, — поддерживала ее Клавка, Анисьиного сноха, которая должна была стоять на стогу.

И все звено, с двумя быками, с коповозами Мишкой Чупиным и Генкой Кузьминым двинулось со стана и вскоре остановилось на гриве.

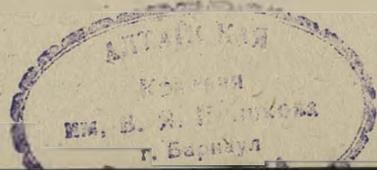
— Вот здесь и будем метать, — сказала Анисья.

— Мам, а почему стога ставят на гривках? — заинтересовался Мишка.

— Зимой снег не заносит на высоких местах.

С гривы видна вся огромная луговина в обрамлении синеющих забок. Она была ровная, гладкая. Лишь кое-где на ней зеленели болотца и сквозь метличник и осоку просвечивала вода, да от края до края тянулись невысокие гривы.

Подкапнивали в звене две Аннушки — Кузьмина и Пономарева, жена председателя колхоза. Они подвели быков к копнам — и работа началась. К одной из копен Мишка подвез и тесно приткнул вторую, а его товарищ между этих двух втиснул третью.



371277

Стог заведен. Теперь мальчишки начали подвозить и ставить копны вокруг него: мечите, женщины!

Анисья и Манька Коробкова с двух сторон подошли к копне и клали из нее сено в стог, пока еще невысокий. За один раз они не могли перебросить всю копну, брали три-четыре раза. Стог рос, и вот на него уже забралась Клавка: подаваемые пласты она должна аккуратно укладывать. И метальщицы теперь начали работать не парой, а каждая по отдельности: с одного боку стога — Анисья, с другого — Манька.

Анисья подошла к копне, не раздумывая, с размаху воткнула в ее крутой бок вилы, наклонила черенок к земле, потянула на себя и вверх, чтобы взять из копны пласт, но копна не подалась, словно была монолитом, в котором каждая былинка крепко-накрепко приклеилась к другой. Анисья дернула вилы с силой, так, что у нее в боку кольнуло, но вырвала из копны лишь небольшой клочок. «Такими клочками буду брать — одной копны на полчаса хватит», — огорчилась она.

Между тем копны обступили уже весь стог и стояли впритык друг к дружке, словно укоряя метчиков за медлительность. Мальчишки валялись неподалеку от стога, пасли своих прожорливых быков — делать было нечего, копны некуда ставить.

— Тетя Оня, тетя Маша, мы загорим! — кричал Генка Кузьмин. — Мечите скорее!

Анисья никак не могла приноровиться, продолжая вырывать из копны жалкие клочки и бросать их на стог. За воротник белой блузки сыпались листочки, шекотали и кололи спину и грудь, пот застилал глаза, но ничего этого она не замечала, до крайности расстроенная своей неумелой работой.

Клавка с высоты стога подлила масла в огонь:

— Чего вы мне сиротские кусочки едите? Мужики бывало, сразу по всей копне бросали.

— Молчи, Клавка, прикуси язык, без тебя тошно, — ответила Анисья.

— Вот и вспомнишь мужиков-то, — не унималась озорная Клавка, белозубо скалясь. — И ночью, и днем вспомнишь.

— Стог рос позорно медленно — это чувствовало все звено.

— Ой, подружки, туча идет! Гляньте-ка, вон со степи накатилась.

— Видим, — отозвалась Анисья. — Набивай середину, Клавка, утаптывай, тогда никакой дождь наш стог не прольет.

— Без указниц знаю! — бушевала Клавка. — Все любят набивать середину.

— А как же! — без обиды подхватила Анисья. — Середина набита — и краешки говорят.

— Проворней, проворней, подружка! — не отступала Клавка. — Не успеем до дождя.

А туча надвигалась. Сначала небольшая, она, приближаясь, росла, расширялась, становясь не сплошной, а разорванной, словно внутри ее кто-то сидел и распикивал темные громадины в разные стороны — по клочкам.

Женщины заторопились, но дело у них не улучшилось: кое-как подхваченные пласты сена разваливались в воздухе, рассыпались.

— Ты хватай, хватай граблями-то! — сердито кричала Анисья на Клавку. — Поменьше зубы-то скаль!

— Ой! Бригадир едет! — закричала Клавка. — К нам завернул, ей-боженьки!

— Чего ему тут надо?! — буркнула Манька.

— Люди, премию везет! За хорошую работу! — хохотнула Клавка.

— Какую премию? — всерьез спросила Манька.

— Мешок матерков. Круглые матерки, как булки. — И Клавка раскатилась хохотом, но сразу же умолкла: бригадир был совсем близко.

Анисья увидела катящийся по траве ходочек, легко бегущего Игренька, в коробке вольготно восседающего Серегу. Да, он ехал к их стогу, к их звену, и Анисья почему-то подумала, что едет он сюда из-за нее, единственно из-за нее, и ей вдруг стало неловко, стыдно перед собой и перед женщинами. «Нет, нет! — гнала она от себя этот стыд. — И чего это в голову всякая чепуха лезет?»

— Черти носят, — в сердцах сказала она, но тихо, только для себя.

— Ой, бабы, скорее вершить! Туча-то — вот она! — испуганно кричала на стогу Клавка. — Я скоро ее рукой достану!

— Чего вершить-то? Стога-то еще нет, — возразила Анисья. — Чирий, что ли, ставить будем?

— До дождя смечем, — обнадеживающе говорила Манька. — Не каркай ты там, Клавка!

А туча шла уже над головой. Она еще не закрыла солнце, но уже подходила к нему, и на земле стало прохладнее, легкий ветерок начал пошевеливать листья на кустах, задирает пласты сена, волновать ка-

мышь и осоку в ближнем болотце. Но вот край тучи наплыл на солнце — и сразу все изменилось: на траву, на кусты, на все предметы упал какой-то необычный, мертво-желтый свет. Присмирели, перестали летать и посвистывать птички, и где-то вдали, под самой забокой, тонким испуганным голосом заржал жеребенок.

Поднебесный на рысях подкатил к стогу, осадил лошадь, насмешливо пропел:

— Привет стахановцам!

Ему никто не ответил. Привязав коня за ветку кустика, он подошел к стогу:

— Здравствуйте, бабоньки!

— Да мы сегодня виделись, — ответила со стога Клавка.

— Бабоньки, да не все! — выпалила Манька.

— Ну, ну, извини, Маша, буду знать... В боку еще не болит, Анисья Тимофеевна?

— Хотя и болит, да не скажем, — ответила Анисья.

— Дай-ка мне вилы, — Поднебесный протянул руку, — у вас у стога-то, я гляжу, завозно, как на мельнице, копны-то в очереди стоят!

— Ну и что? — выпалила Анисья. — Нечего смеяться! И в помощниках мы не нуждаемся, как-нибудь сами управимся, — она отдернула вилы, за которыми тянулся Серега.

Вдали, у горизонта, глухо загремело, и все поглядели туда: там набухала иссиня-чернильная темнота.

— Ну, позволь все-таки, — не отставал Поднебесный, берясь за Анисьины вилы. — Не в службу, как говорят, а в дружбу. Знаю, как вам нелегко, жилы вытягиваете.

— Ладно, возьми, побалуйся, если силу деть некуда.

Поднебесный поплевал на ладони, неторопливо и нерезко воткнул вилы в копну, дернул за черен, поставил вилы на землю, Анисья не успела глазом моргнуть, как вся копна оказалась у него над головой, а потом резко прыгнула вверх и медленно всплыла к стогу, легла в углубление, так вилы пригодились. От удивления большие серые глаза Анисьи расширились, стали еще больше. Она схватила грабли и давай подскребать за бригадиром, прибивать остатки сена от взятой копны к другой копне.

А Серега поднимал на стог уже третью копну, и Анисья испугалась: вдруг не успеет за ним подскребать? Вот будет стыдобушка! Грабли ее заходили быстрее, она уже бегала, то и дело взмахивала ими.

Манька остановилась, загляделась на

бригадира, будто сроду не видела, как мужики мечут сено. А и вправду она не встречала, чтобы вот так сразу всю копну поднимали на стог — обычно мужик брал ее в два-три приема. «Распалился что-то Сергей Григорич, — думала Манька. — Не иначе как перед Анисьей из кожи лезет, вылупается... И нога раненая ему не помеха...»

Манька хитровато шурила всевидящие рыжие глаза.

— Чего глядишь, Маша, я не циркач, не даю представление, — сказал бригадир. — Возьми топор да поезжай в забоку, выруби вицы.

В предчувствии грозы люди с тревогой посматривали вверх и поторапливались. Тучи закрыли все небо. Они наплывали друг на друга, сшибались, смешивались, расходились... Зловещий желтый свет исчез, плотная темная глыбина зашторила солнце, и на земле сделалось сумрачно и уютно. Ветер поднимал и нес по воздуху былинки и клочки сена, пригибал к земле кусты, свистел где-то в вышине буйно, с подвывами.

Вдруг на всю округу полыхнул бледно-фиолетовый свет — небо расколосось, взорвалось и загрохотало.

— Ой, мамонька родимая! — закричала на стогу Клавка. — Снимайте меня отсюда!

— Завершай скорее! — ответил ей Серега, подавая пласт. — Топчи середину!

Копны бригадир сбросил уже все, оставались небольшие кучки, что наскребла Анисья.

Снова треснуло в вышине, и гром пошел вдаль, за забоку, — казалось, там рушатся мрачные синие горы. Не успела грохочущая лавина затихнуть вдали, как новый удар перекрыл ее и опять покатился по всему небу, до самого горизонта.

— Ой, стог трясется! Убьет меня тут, снимайте! — просила Клавка.

— Да ты сядь, не торчи столбом! — советовала Анисья.

Когда Поднебесный подал вицы на стог, упали первые капли дождя.

Гром ударял не переставая, без перерывов. Полил крупный и частый дождь... Изнеможенные люди подставляли под него лица, ловили холодноватые капли ртом.

Анисья и ее подруга, закончив все дела, прижались к стогу с подветренной стороны. Здесь же приткнулись и мальчишки. Бригадир достал из своего ходочка палатку, сделал над головами нечто вроде крыши. Теперь дождь был не страшен — за воротник не лило.

Гроза бушевала вовсю. Пришли в движение какие-то гигантские силы и в своем неистовом гневе никак не могли успокоиться. Бесперывно ухало, и взрывы были столь мощны и оглушительны, что, казалось, от них, как арбуз, может расколоться земля. Удары грома не обрывались, не утихали, а катились по всему небу из конца в конец, и так как за одним ударом сразу следовал другой и этот другой тоже раскачивался до самых дальних далей — по всему небу бушевал сплошной, непрекращающийся гул.

— Господи, что это творится, — испуганно шептала Анисья, невольно прислонясь к Поднебесному, стоявшему рядом с ней.

— Артиллерийская подготовка, — улыбался он, чувствуя ее разгоряченное тело, радуясь ее прикосновению. — Бьют самые крупнокалиберные пушки из резерва главного командования, — блеснул он своими военными познаниями.

Женщины молчали, подавленные грозвыми раскатами. Заговорили они только тогда, когда дождь поутих и небо с запада начало светлеть, проясняться. Тут и шуточки пошли, и смех...

А вот и солнце появилось, все такое же ослепительное и жаркое. Гроза еще бушует где-то за лесом, за Обью, там еще синие молнии режут, строчат эту синь, а здесь уже весь мир облит светом, сияет и радуется...

Звено потянулось к бригадному стану. Шли женщины вразвалочку, не торопясь, наслаждаясь ходьбой по такому яркому, сверкающему, только что умытому лугу. Отава насквозь промочила их обувь, вода хлюпала в сандалиях, в ботинках, в тапочках, но была теплой, приятной. Солнце сушило их волосы и одежду.

В маленьких лучках, во впадинах и ложбинках стояли дождевые лужицы, солнце отражалось от этих больших и маленьких зеркал, и на земле играло столько солнечных зайчиков, столько ярких излучений, что один лишь этот свет мог вызвать ликование души. Не верилось Анисье, что где-то сейчас черные дымы застилают свет, где-то идет война... Разве не на всю землю сияет это солнце?!

Женщин догнал на своем ходочке Поднебесный. От вымокшего Игренька, разогретого бегом, шел парок. Из-под колес летели теплые брызги.

— Ну, кто со мной, подвезу, — сказал бригадир, поравнявшись с женщинами и уставясь на Анисью.

Но Анисья не отвечала на предложение, хотя Манька и подталкивала ее в бок. Зато Клавка не растерялась:

— У меня рученьки и ноженьки трясутся, — сказала она и шагнула к ходочку. — Устала!

Поднебесный тронул коня вожжами, оскалился:

— Молода еще, топай на своих! Не обманывай, что устала.

Покрасневшая Клавка опешила и не отважилась кинуться за бригадирским ходком.

— Не больно-то и хотелось, — сказала она с деланной гордостью. — Задается больше жизни. Подумаешь, чин какой — бригадир...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На стане собралась вся бригада. Шалаши и балаганы пролило, из них повытаскивали мокрые постели сушить на солнце... Обедали под открытым небом, расстелив на земле тряпочки и мешки.

Алеша Саломатин, до глаз заросший седой волосней, в сторонке отбивал косы, водрузив на нос очки и притянув их к ушам веревочками. Далеко в забок отдавалось эхо от ударов Алешиного молоточка.

Анисья обедала. Она съела миску хлеба из общего котла, два яйца, сваренных вкрутую, запила обед молоком, которое брала теперь у Дроздовых, и почувствовала себя сытой и отяжелевшей. Не хотелось двигаться, клонило на сон: руки-ноги сделались неподъемными. Голова была как в тумане, и побаливало в боку. Она прикорнула на несколько минут и встала освеженной, бодрой, готовой к работе.

Ни грести, ни копнить, ни метать мокрое сено нельзя, поэтому вся бригада переключилась на косьбу. Двинулись на свои деланы сенокосилки, пошли с косами на плечах многие женщины. Другие направились в дальний угол косить траву для собственной скотины.

— А ты, Анисья Тимофеевна, почему не идешь косить для своей коровушки? — спросил бригадир, присев на корточки перед Чупиной.

— Как будто не знаешь. Нету же у меня коровы.

— Нет — так будет.

— Где я ее возьму? Денег наторговала только на телочку, да и те трачу: отец болеет. И налоги надо платить.

— Иди коси. Говорю, будет у тебя корова, значит, будет.

— Зачем меня обманывать? Я не маленькая. Мне и так тошно.

— Никого еще не обманывал... Все правление взбулгачу, но добьюсь, ты только заявленье напиши. А их заставлю голоснуть. Нетель вырешим.

— Ох ты, какой вырешитель! Всех выше, что ли, в правленьи?

— Не всех выше, но... прислушиваются, особенно сам Пономарев. Между нами говоря... Только подай заявленье.

Он ушел к вешалам, долго там выбирал косу, бил по ней пальцами, подделывая ручку, подбивал клинья — наконец, принес Анистья:

— Кажется, ловкая, возьми. И вот оселок возьми. Точить.

— Спасибо, добрый человек. — Анистья улыбнулась.

Косить она ушла тоже в дальний угол, выбрала чистую поляну копен на двадцать. Трава была трудная, пырей с визилем — она махала косой со всей силушки, едва протаскивала ее, зато валок получался густой, тяжелый, нагребистый.

Анистья косила и все посматривала на дорожку: боялась, не появился бы на ней Серега. «Как увижу — едет, так и брошусь в кусты, ищи — свищи, Сергей Григорьич!» Но Серега не приехал, и она косила до солнцезаката, пока ее не выжил из забочки поднявшийся комар.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Почтальонка Васеня обычно сует письмо в щель под сеночную дверь — Анистья, распахивая сенки, прежде всего оглядывает пол: нет ли знакомого треугольничка?

Сегодня день был счастливый: на полу лежало Митино посланье. Она подобрала его, поскорее вошла в избу, развернула.

Читать еще можно без огня.

После поклонов Митя писал: «Перевезли нас в свой родной город («Ага, в Барнаул, значит», — обрадовалась Анистья.), так что я теперь почти что дома. А стоим мы в таком месте, где только в небо дыра. («В бору», — догадалась Анистья.) Учимся воевать, по-сибирски бить проклятого фашиста. Сейчас он на Сталинград прет, но, гад, обязательно захлебнется, и мы его расколошматим. (Анистья очень понравились эти слова: «Вот так Митя, какой боевой стал!»). Я здоров, ни разу еще не болел, желудок мой работает как часы... Правда, лишний вес я тут сбросил, потому что он бойцу не нужен. («Какой лишний вес?» — забеспокоилась Анистья. Она вспомнила, как Митя года три

назад явился из районной больницы после воспаления легких худющий, шкилет шкилетом, ветром качало, но не хотел признаться в слабости, пыжился и все говорил: «Я только лишний вес сбросил». Беда с этим его «лишним» весом!»)

К некоторым тут приходят жены и матери, — продолжал Митя. — Начальство у нас доброе, свиданки не запрещает. (У Анистья кровь кинулась в лицо: «Все понятно! Просит прийти к нему».)

Последние строчки письма она пробежала глазами почти не читая, хотя там были самые нежные слова: «Целую тебя тысячу раз и столько же сынулю нашего», быстро закрыла дом и побежала к Дроздовым: не терпелось поделиться радостной вестью с отцом-матерью, совета ихнего послушать, с чем идти и когда...

Родители велели отправляться к мужу ни дня не мешкая, а харчей столько взять, сколько она унести сможет. Муки у них, как и у Анистья, не было, и все трое они долго мороковали, где ее достать, но так ни до чего и не додумались.

Анистья пришла домой, достала из ящика Митину рубашу, совсем новую, майку голубую, тоже еще не надетую, сунула под кофту и двинулась по селу торговать... Она безуспешно «обшелкала» несколько домов: муки не разжилась. И только Сейка Буракова, жена Гриши-тракториста, оказалась настоящей богачкой, а может, просто жалостливой и щедрой женщиной.

— Оно и без твоих вещей, Оня, мы обошлись бы. Мучки-то осталось немного, да для Мити уж ладно, разоримся, бери и стряпай большую квашню, — сказала Сейка и отвалила чуть не полное ведро муки.

— Спасибо, Серафима, твою доброту я не забуду, — сказала Анистья.

В эту ночь она задремала только под утро, но почти сразу же проснулась, словно кто под бок ее ширнул. Сбегала к Дроздовым за молоком, чтобы завести сдобную квашню, творожку взяла свежего, а яйца у ней прибережены, в пестерюшке лежат.

Теперь надо было выполнить самое трудное: отпроситься у бригадира. Пошла в контору, нашла его там, отозвала в сторонку, выложила просьбу свою.

— Ты что, Оня, сдурела? Сто верст хочешь пешком тащиться? И еще с полной выкладкой? Да ты без ног останешься. И в дороге можешь нарваться на какого-нибудь обормота. Пожалей себя. — Поднебесный отводил взгляд, словно стыдясь своих слов.

— Мне ног своих не жалко. И не боюсь никого.

— Вот, говорят, через недельку кладовщик повезет в город мед продавать, с ним и съездишь.

— Ни одного дня не хочу ждать.

— Загорелось? Ты думаешь, Митя твой там монахом живет: солдат никогда не теряется, в любой обстановке, — Поднебесный улыбнулся, однако улыбка получилась кислой, жалкой. — Солдат найдет, где подкормиться...

Анисья таким взбешенно-презрительным взглядом посмотрела на бригадира, что он прикусил язык.

— Значит, не разрешаешь? У Пономарева проситься?

— Нет, нет, почему же? Разрешаю. Только лучше бы подождать.

— Не могу.

— Тогда что ж, иди... Иди, куда от тебя денешься... Загорелось... Но если что случится, на себя пеняй — я предупреждал, хотел как лучше.

Анисья повернулась и пошла домой. Слава богу, самое тяжелое дело сделано. Надо идти заводить квашню. Да еще за медом сходить к Гришке Сазонову. Маслица бы где купить... А рыбки у Рогозихи надо взять, у той всегда рыбка есть... Накормит она Митю сдобными печенюшками, шанежками с творогом, пирожками с яйцами! И еще угостит рыбным пирогом, и много много луку наладет в этот пирог, пять больших луковиц изрежет, пусть ест и пальчики облизывает, так уж он его любит, этот лук в рыбном пироге. Всего наготовит она Мите! «Была бы коровка да курочка — состряпает и дурочка», — вспомнила Анисья материну половицу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Долой обман». Так называлась коммуна, куда семья Чулиных переехала в двадцатом году из дальней деревни. Старшие братья Федор и Лука были уже юноши, а Мите шел десятый год.

Коммуна построилась на опушке бора, у мелководной речки с татарским названием Кучук. Дома стоят в один ряд, тесно прижались друг к другу, а в конце порядка — столовая, пекарня, изба-читальня и баня.

В этой бане, на время превращенной в медпункт, умирала от тифа мать Мити. Его не пускали к ней, он бегал под забеленными окнами, припадал к ним, но ничего не мог увидеть.

Мальчик не запомнил, как ее хоронили, осталось лишь в памяти, что крест, который привезли из соседней деревни, долго стоял

прислоненный к сенкам. Его поставили на могилу другой женщины, умершей вслед за матерью. Отец объяснил Мите, что мать неверующая, потому и похоронена без креста.

Митя хорошо запомнил, как ходил на сельское кладбище, к матери. Собрались они трое — Игнашка, Федька и он, — взяли с собой двух собак — черного высокого Барина и серого Волчка. Шли по дороге среди зеленых хлебов. Справа на буграх лениво двигали крыльями две ветряные мельницы. Когда подходили к деревне, встретился им сивобородый мужик с ребенком.

— Чья это черная собака? — спросил мужик.

— Наша, — ответил Митя.

— А-а, вы коммунары, — оскалил широкие желтые зубы мужик. — У вас не «мое», а «наше». В руках у Мити была бутылка с водой, и ребенок потянулся к ней:

— Пить, пить...

Митя откупорил и поднес бутылку к губам мальчика, но отец со злостью отпихнул ее.

— Не смей! — сказал он сыну. — Это же нехристи! Не умрешь и без воды.

Коммунары поспешили расстаться со страшным мужиком. Уже завиднелась деревня, когда у них случилась беда: Игнашка наколол ногу. В коммуне проходила как раз «Неделя босоты» (для экономии обуви), и разутыми ходили все поголовно, даже сам председатель коммуны Филатов.

Занозу достать не могли, и Игнашка, опираясь на Федьку, заковылял домой. С ними побежали собаки, Митя остался один. Около дубровки он нарвал цветов: белых ярких ромашек, нежных простеньких васильков, фиолетовых колокольчиков, больших розовых полевых маков — букет получился на загляденье.

Идти надо через деревню, где парнишки могли поймать и наколошматить, но Митя не страшился и не собирался, в случае чего, легко поддаваться. С горы вся деревня открылась ему, каждый домик: она в низине стоит, по той и другой стороне яра.

Митя остановился около церкви: его заинтересовала веревка, спущенная с колокольни и привязанная к церковной ограде. Мимо шла девочка с белыми косичками, большеглазая, голенастая. Митя насмелился спросить у ней:

— Зачем это веревка?

Девочка остановилась, объяснила:

— Это когда пожар, то хоть кто может подбежать к веревке и часто-часто дергать за нее, чтобы люди скорее бежали на по-

жар... Бом-бом-бом-бом... Хоть днем, хоть ночью звони, хоть когда.

— И я могу?

— Я же сказала — хоть кто! Хоть я, хоть ты. А ты откуда?

— Из коммуны.

— А зачем столько цветов нарвал?

— Я мамку пошел проведовать, на могилу ей несую.

Девочка помолчала.

— Пойдем вместе через яр? — предложила она. — А то могут парнишки встретиться и не пустить, они на коммунарских насканивают.

— Пойдем, — храбро согласился Митя. Рядом с девочками он еще никогда не ходил. — А ты чья?

— Дроздова, Онькой звать.

Они спустились в яр по желтой глинистой тропе. Митя с опаской косился на спутницу. От природы молчун, сейчас он и вовсе не мог выдать из себя слова. Когда по узенькой плотине они пришли на середину яра, Митя, чтобы отстать от девочки, сказал:

— Здесь я попою.

— До свиданья, — попрощалась Онька. — Никого не бойся.

Митя вылил из бутылки воду, ставшую уже теплой, и решил набрать свежей, из родника. Оставив цветы на плотинке, он двинулся к овражку, по которому, сверкая под солнцем, бежала струйка ключевой воды. Он ополоснул лицо, вытерся полой рубашки, подставил рот под струйку и, обжигаясь холодом, втягивал воду сквозь зубы... Потом наполнил бутылку.

— Не трогайте! — услышал он крик Оньки и быстро обернулся. Девочка сбегала с горки. Она пустилась вниз по ручью, что-то хватывая из воды и вскрикивая. Митя забыл о бутылке, кинулся на помощь. Он увидел, что девочка подбирает цветы, плывущие по ручью. Вся забрызганная грязью, она ругала кого-то громко и гневно.

Митя догадался, что его букет кто-то сбросил с плотины. Обратив взгляд на тропинку, он увидел двух сорванцов, поднимавшихся в гору и боязливо озиравшихся, — и припустил за ними. Одного он успел нагнать, подставил ему ножку, пихнул под горку. Падающий тот закричал:

— Не я, не я!

Второй был уже далеко. Митя махнул на него рукой, вернулся на плотину. Онька протянула ему букет.

— Обормоты! — говорила она. — Этому Кешке только бы пакостить. Вот поймать да наподдавать...

И снова они идут рядом, и Митя нет-нет да посмотрит на светловолосую девочку, но сказать ничего не может, слова застревают где-то в горле, хорошие слова. Вот это девчонка! Отродясь не видал таких...

Он долго сидел на могиле матери. Мысли о девочке не выходили из головы. В коммуну бы ее взять, чтобы вместе ходить в бор, играть... Но разве это возможно?

Потом он сидел на высоком крыльце сельской «мангазеи», откуда видна почти вся деревня. Может, девочка где-то покажется?

К крыльцу подошли двое мальчишек, сели ступенькой ниже и заспорили, куда идти купаться, на Борозду или в Дуброву. Решили идти в Дуброву, пригласили Митю — он не отказался.

Когда купались, появилась молодая женщина, зачерпнула в ведра воды, постояла, спросила у голого Мити:

— А ты пошто, парнишка, без крестика? Потерял?

За Митю ответил один из его новых товарищей:

— Он коммунар, креста не носит.

Женщина сняла с плеч ведра и, плюясь и ругаясь, вылила воду из них.

— Антихристы! — замахала она руками. — Огурцы засохнут от нечистой воды! Вылазьте! И не смейте больше здесь купаться!

«Чистой» воды она набрала подалее от купальщиков. Митя остолбенел. Удивленными глазами глядел он вслед женщине. У мальчишки руки сжимались в кулаки. Выскочив из воды, он, голый, пустился за женщиной и догнал ее, захватил горсть назому, высыпал в ведра.

— Вот тебе чистая вода, вот тебе чистая вода! — срывающимся от обиды голосом кричал он. Женщина от неожиданности присела, ведра сорвались с коромысла и разлетелись в стороны.

— Опоганил! — закричала она и бросилась за Митей с коромыслом в руках, но Митя, подхватив бутылку, штаны и рубаху, помчался во весь дух и скрылся в дубраве.

Осенью семья Чупиных переехала в Ивановку. Построились «на задах», образовав вместе с другими коммунарами новую улицу Барнаулку. У Мити в деревне появились друзья, но он не забывал и Оньку. Однажды в яру играли в прятки, он постарался спрятаться вместе с ней и, оказавшись рядышком, несмело вынул из кармана давно припасенную голубую ленту:

— Возьми. На свои деньги купил.

На свои... То была правда: Митя выиграл у сверстников много бабок и продал их по копейке десяток, денег хватило на целый метр ленты.

Онька мотала головой, отмахивалась руками.

— Не надо, не надо...

— Будешь моей невестой? — храбро выпалил Митя и покраснел, как только что выкатившийся круглый месяц.

— Не буду! — отрезала Онька и убежала.

Дома она пожалела о своем отказе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Встала Анисья со вторыми петухами. Зажгла лампу, еще раз проверила все, что вчера приготовила в дорогу. Кажется, ничего не забыла.

А Мишку будить жаль — только разоспался парнишка. Ох, намучается он за дорогу! Лучше бы дома оставить, да ведь Митя что тогда скажет? Нет, пусть уж посмотрит на сына, побудет с ним, может, последний разочек.

За деревню вышли еще затемно. И тут, с возвышенного места, увидела Анисья зарю. Дома ее никогда не видишь, она за увалом, а здесь вся на виду, до самой земли. Высокая, чуть не до половины неба, тихая, ясная, ничем не замутненная. Точно юность Анисьи, или нет, будто ее любовь к Мите. Анисья остановилась, чтобы полюбоваться этим легким розовым разливом. Господи, до чего на земле красоты много, подумала она. Жить человеку да радоваться, а он какие-то войны затевает, убийства...

Корзины она поставила прямо на дороге, тут же положила коромысло, на котором несла их, сама присела на траву, у обочины, а рядом Мишку посадила. Он ткнулся ей в колени и сразу же начал посапывать. Да и у нее что-то тяжелела голова — она встряхивала сонливость, перемогалась. Из деревни, что лежала внизу, не доносилось ни звука — там еще все спали. Ей тоже не хотелось подниматься, не хотелось отрываться от родного угла. Дорога пугала своей дальностью, пустынностью, опасностями.

Она вскочила на ноги. Неужели спала? Кругом было уже светло, и птицы заливались как оглашенные, словно соревнуясь в крикливости.

— Вставай, вставай, сынок! Скоро солнышко выглянет. Идти надо.

Мальчик вскочил, начал тереть глаза. Они двинулись потихоньку по пыльной доро-

ге. По сторонам лежали поля с наливающейся, позванивающей пшеницей, зеленели березовые колки, выростали телеграфные столбы... На обочинах тоскливо покачивали верхушками запыленная польнь, лебеда, будылья осота. То через рыжие бугры, то через влажные впадины пролегалла дорога, то шла прямо, то изгибалась, то была гладкой, укатанной, то вся в выбоинах.

Тянут плечи корзины, давят, гнут к земле. Анисья старается не думать о них. Другие мысли приходят в голову, а больше — воспоминания.

Неожиданно повезло: их догнала подвода из соседнего села. В телеге сидела женщина, одна-единственная.

— Утомились? — сказала она, останавливая лошадь. — Присаживайтесь, подвезу.

Анисья и Мишка взобрались на плоскую площадку, свесили ноги между пыльных колес.

— На-ка вот пощелкай, — протянула Анисья женщине жареных семечек.

— Не занимаюсь. Зубы болят.

— Дочку дома угостишь! Возьми! «Сибирский разговор».

— Разве что дочку.

Анисья обрадовалась, что добрая спутница не отказалась взять семечки. От этого стала она как будто знакомее, ближе. Анисья начала спрашивать ее о семье, о родственниках, оказалось, женщина-то не чужая, хоть и седьмая вода на киселе, а все же родственница. Анисья достала из корзины пирожок Мишке и таким же пирожком начала угощать только что обретенную десятого колена тетушку, однако та решительно отказалась:

— Поди, мужу несешь, девка, чего это я буду от солдатского рта отрывать? Негоже, девка, спрячь.

Женщина подвезла путников до самой Шелаболихи (дальше она не ехала) и этим сократила их дорожное время чуть ли не на сутки, так что рыбный пирог, за который Анисья очень опасалась, теперь мог прибыть к Мите почти свеженьким.

В Шелаболихе пришлось снова подниматься на увал. Но потом дорога побежала под уклон, и до самого моста, что напротив пристани Самодуровки, идти было легко. Наконец, преодолели еще один склон — и вот ровное поле на много верст...

Показался Павловский бор. Сначала он виднелся как одна сплошная черная линия. С каждым километром эта линия становилась толще, бор на глазах выросал и менял цвет: из черного становился темно-зеленым. Но вот уже и верхушку хорошо вид-

но: она не гладкая, а зубчатая. И бор — не линия уже, а стена, он совсем близко, до него рукой подать, и даже воздух стал другим, посвежел, и глубже дышится, и веселее шагают ноги.

Павловск — большое село, стоит как раз на полпути. Анистья загадала отдохнуть здесь часа два и шла теперь с ощущением близкого привала. Она дала попить Мишке, сама глотнула из бутылки. Сил как будто прибавилось. Хорошо, ой как хорошо идти по гладкой дороге между хлебов! Так и шла бы без передышки до самого Мити!

И в голове ее вдруг начали возникать то захватывающие, острые, то веселые и забавные картины прошлого. Вспомнилась своя свадьба, или, лучше сказать, замужество убогом, как тогда называли... Потом мысли ее почему-то перескочили еще дальше: пришел на память сильно нашумевший случай, который произошел в деревне перед их с Митей свадьбой, — случай с поимкой «черта». Смеху было в селе тогда много. Десять лет прожито с тех пор, а о происшествии этом многие и сейчас рассказывают в веселую минуту.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Это произошло вскоре после создания колхоза в деревне. Сбросили с церкви колокола, объявили, что на свете нет ни бога, ни черта. Построили новый народный дом, потеперешнему клуб, и в нем ставили пьесы, крутили кинокартины, проводили собрания и митинги. Разоряли кулаков, отправляя семьями в Нарым, прижимали твердыми заданиями богатеньких, отчего те сами убегали из деревни, оставляя дома и хозяйства.

Деревенскому пастуху Коле Круглову (по кличке Пахорукий), ютившемуся с семьей в избушке с тремя подслеповатыми окнами, привалило счастье: его переселили в крестовый дом Веденя Гнедых, крепкого мужичка, неожиданно скрывшегося из села вместе с супругой и дочерью.

— Занимай, Николай Захарыч, эти хоромы и живи себе на здоровье. Советская власть тебя вселяет сюда, потому как ты есть пролетарий и обществу служил всю жизнь, на ветру мерз и на дожде мок. Кто был ничем, тот станет всем, — так говорил Коле председатель сельсовета Филатов, когда они вместе осматривали брошенный дом.

Круглов ничего не ответил, только губами пожевал, но в глазах его мелькнула довольная усмешка, которую он редко дарил кому-либо, потому что был замкнут и не-

людим. Луга, солнышко, небо, вечная красота, к которой он каждый день прикасался, не смогли изменить его угрюмого характера.

Зато жена его Васеня говорлива и бойка. Как в свое время эта сильная, здоровая женщина могла оказаться женой малахольного и незавидного Коли, к тому же пахорукого, — сказать трудно. Может, свела их обоюдная бедность? У Коли с Васеней уже двое детишек бегали по избушке.

Однажды на масленице, когда на деревенских улицах почти день и ночь шумели конные и пешие, Васеня встретила Колю необычной вестью:

— Всю ноченьку глаз не сомкнула сегодня.

— Что такое? — удивился Коля.

— С вечера-то заснула, а потом в сенках как загрохало, как загрохало... Думаю, коты шляются, вышла с лучиной — никого нет, и все закрыто, неоткуда котам взяться... То ли поблазнило, думаю? Смотрю: поленья с лавки упали, на полу лежат, значит, не поблазнило. Подобрала поленья, зашла в избу. Только стала засыпать — снова загремело. Бряк да бряк... Напужалась я, двери скорей на крючок, боюсь выглянуть. А потом слышу: на подызбице топ да топ, но не сильно, с опаской... Шастает и шастает. И заскулил, будто черти его дерут.

Коля улыбнулся. Он знал Васеню женщиной бесстрашной и потому ее испуг считал неправдашным, напускным: «Дури на себя нагнала». Уверенный в том, что спать не давали ей мартовские коты, он пошел осматривать сенки, однако никаких дыр, никаких лазеек там не обнаружил. Маленькое оконце тоже было цело.

Ночной грохот так и остался неразгаданным.

Коля улегся спать сегодня не на печь, а на кровать, а измученная бессонницей жена примостилась сбочку. Ребятишки убежали «жечь масленицу»...

Беспокойная ночь в семье как будто вскоре забылась. Но вот однажды Васеня ошарашила мужа еще более тревожным сообщением. Оказывается, ночью с шестка упал чугунок, и картошка рассыпалась по полу. Когда вскочившая с постели хозяйка трясущимися руками зажгла свет, на печи что-то зашуршало. Собрав картошины, Васеня задула свет и легла. С полочки вдруг полетел клубок пряжи. Она уже не посмела встать, подобрала его только утром.

— Нечистое место, — заключила Васеня. — Не зря Гнедых сбежал отсюда. Не-

чисть — она кого хошь напужает и выживет, золотому дворцу не рад будешь. Ты не ходи сегодня на сторожку — я одна боюсь.

— Как не пойдешь! Кто же за меня ночь стоять согласится? Мы теперь в колхозе, а не сами по себе. Да ведь ты не одна остаешься, с ребятишками, — говорит Коля. — Выбрось все из головы, ничего не случится. Завалилась да спала.

Несколько ночей прошло спокойно. Васеня не жаловалась. Но вдруг опять встретила утром Колю с причитанием:

— Тебе хорошо, с ружьем там стоишь и в ус не дуешь, а тут воюй всю ночь с чертями, душенька в пятки уходит, трясешься ни жива ни мертва.

— Да что опять случилось?

Васеня рассказала о новых проделках черта. На сей раз он совсем распоясался и такую штуку отмочил, что у нее от страха в поясницу вступило. В углу стоял веник, а под ним лежала кучка сору. Эту кучку черт и размел по всей избе. Васеня встала, зажгла свет, подмела за чертом. Но он ведь до чего настырный — снова за свое... Второй раз она побоялась вставать, и изба до сей поры не метена.

— Я говорю: тешься, бес, недолго осталось изгаляться над нами, уйдем, огород садить здесь не будем.

— Куда уйдешь? — уныло обронил Коля.

— Да неужто здесь жить останемся? Защекочет когда-нибудь. Нет, ты как хошь, а я с ребятишками подамся в свою избушку.

Весь день обсуждали Пахорукие план действий. Васеня настояла: завтра же Коле идти к Филатову и просить, чтобы скорее их перевезли из нечистого места на родную их усадьбу.

— Пусть с домом, — сказал Коля, — и дом сразу станет вроде бы уже наш собственный, и место свое.

Но Коля не совсем еще был убежден, что ночные события — бесовские развлечения. Может, Васеню пугает какой зверек? Мало ли их всяких водится. Заплетают же кто-то гривы у лошадей в узенькие, тонкие косички. Так заплетают, что иной человек, хоть и с двумя руками, не сможет. Говорят, какая-то ласка. А кто ее видел? Вот и у них в подполье какая-нибудь тварь поселилась, чучело-чумичело... Вылезет ночью в кошачью дырку и фулиганит.

Коля решил проверить Васенины рассказы, заночевать дома. Он лег на кровать и только-только начал задремывать, как прямо в него, чуть не в голову, приле-

тело полено. Коля заорал благим матом, подхватился, вмиг зажег лампу. Поднялась и Васеня, спавшая на полу с ребятишками.

Свет у них горел до третьих петухов. Фитиль не стал доставать до керосина — в лампу долили воды.

Еще потемну отправился Пахорукий со своей необычной бедой к Филатову. Дежурного исполнителя Буракова Петра в Совете захватил он спящим на столе.

— Черти тебя носят! — буркнул тот спр-сонок. — Будишь людей среди ночи.

— Черти и есть, — ответил Коля. — Замучили они нас.

— Да это ты, Коля? Слышал, слышал про твой дом. Вся деревня говорит. Но только не верю. — Бураков был третий мужик, прошедший две войны. — На свете нет ни чертей, ни леших, ни домовых.

— Будто ты знаешь! — со злостью возразил Коля. Ему вспомнилась смуглая, черноволосая, страховидная бабка Красишха, которая, поговаривали на селе, водилась с нечистью и вскидывалась свиноей. Бабки давно нет, умерла, а в памяти вот осталась, чтобы мучить людей всякими сомнениями.

— Знаю! — распалился исполнитель. — Все ваши черти — чепуха на постном масле. Ты вот пастух, все болота излазил, а видел хоть раз водяного?

— Слышал однажды, — ответил Коля.

— Брехун!

— Верно... Слышал, как он хохотал.

— Васеня твоя хохотала над тобой! — разозлился Бураков и больше с Колей не разговаривал.

Филатов пришел, когда совсем рассвело. Выслушав необычную просьбу Коли, покушал сухие лиловые губы, сдержанно хохотнул, ответил всерьез:

— Хорошо, Николай Захарыч, мы проверим. Если что, пособим. Не оставим так.

Коля ушел обнадеженный.

Филатов вызвал двух комсомольцев — Митю Чупина и Леню Кузьмина, усадил поближе к столу своему:

— Вот что, ребята. Слышали про чертей у Коли Круглова?

— Еще бы! Мы хотели продернуть его в живой газете, — ответил Митя. — Темнота беспросветная!

— С газетой потом. А на сегодня ваша задача такая: поймать черта.

Парни переглянулись и ничего не ответили.

— Ну, что молчите? Поймаете?

— Дак чертей нету, кого ловить? — дернул плечами Леня Кузьмин и поиграл

наборным ремешком, которым подпоясывал рубаху.

— Найти надо! И вывести на чистую воду, чтобы все село знало. Надо разведать, кто там в дому балуется. Может, это проделки врагов... Кто-то там действует. Не сами же собой летят чугунки, клубки и поленья. Придется ночку-другую подежурить прямо в избе.

— А пустит нас Васенья? — спросил Митя.

— Куда она денется? Раз просит перевозить дом, должна доказать на факте, что черти не дают на этом месте жить, — Филатов усмехнулся. — Только вы пока молчок. Все между нами, договорились?

Вечером друзья направились к злополучному дому. Впервые Митя шел вечеровать без гармошки. Зато на всякий случай положил в карман тяжеленькую гальку, о чем Кузьмину, конечно, не сообщил. А тот сунул за голенище сапога широкую стамеску, однако тоже не спешил известить о ней друга.

Васенья встретила на дворе, посмотрела на посланцев Филатова глазами пострадавшей жертвы, но когда они объявили, что будут ночевать, как-то сникла и отвернулась.

— Можете и ночевать, мне-то что, — как-то неприветливо, вроде даже в сердцах сказала она, сопровождая их в дом.

Легли так: Кузьмин в кухне, Чупин в горнице, на полу, и с ним рядом старшая девочка. Васенья с младшенькой улеглась тоже в горнице, на кровати. Пахорукый ушел на сторожку.

Потушили свет, но никто не спал, не хотел спать.

Митя слушал постукивание ходиков и раздумывал о завтрашнем вечере. Он решил, наконец, сказать завтра Оне, что любит ее и дальше жить без нее не может, измучился. Пойдет ли она за него? Молоденькая больно, всего семнадцать. Не пустят родители, скажут, не засиделась в девках, подождет, погуляет... А что, если уговорить Оньку пойти убегом, без сватовства? Сейчас многие так делают. Сказать ей: если любишь — иди. Потом отец-мать все равно благословят, простят, а заартачатся — можно жить и без родительского креста. Зачем старорежимных правил держаться?

Заскрипела кровать на кухне — Леня, видно, не спит, ворочается. Он тоже сватает свою Нюрку, а та ни «да» ни «нет», за нос водит парня...

Выдумала Васенья каких-то чертей — карауль ее тут. Удовольствия мало. В нар-

доме сейчас танцы и песни. Она под чью-то гармошку частушки сыплет и дробь бьет. И ждет его, Митю, а он даже не успел предупредить, что уходит на всю ночь ловить чертей.

Митя открыл глаза. В окно глядела луна и бросала на пол слабый свет. Посапывала под тулупом девочка. С кровати, где спала Васенья, не доносилось даже самого слабого звука, будто Васенья и не дышала. «Не спит, — решил Митя. — Никаких чертей нету, одни бабьи сказки».

И только успел он так подумать, что-то тяжелое брякнулось о пол. Митя вскочил, быстро зажег спичку (коробок держал наготове, на стуле). Взгляд его упал на кровать, и он заметил, как Васенья поворачивалась с одного бока на другой, лицом к стене.

— Иди сюда! — крикнул он Лене, тоже чиркавшему в кухне спички. — Зажигай лампу, Леня!

При свете нашли они на полу довольно увесистую бакулку, от которой, попади она в голову, могло бы не поздоровиться. Митя начал рассматривать чурбачок, словно искал на нем следы бесовских мохнатых и черных рук.

Васенья открыла глаза, заговорила будто спросонок:

— Играет? Он веселый, любит побаловаться.

Митю осенило вдруг. Чего это она делает вид, что спала, ведь притворяется же! Тут что-то есть! Он еще ничего конкретно не знал, не предполагал, но ему захотелось удалить Васенью из горницы и поговорить с Ленией, поразмыслить.

— Да, веселый, — подтвердил он. — А теперь, Василиса Ивановна, перейдите на кухню. На печку лягте. А мы здесь подождем, что будет дальше.

Как в его голову могла прийти эта мысль? Он сам не мог потом объяснить себе. Видно, родило ее притворство Васени.

— Зачем мне на печку? — возразила Васенья. — Мне и здесь хорошо. А на печке ребенку жарко.

— И все-таки придется перейти, — настаивал Митя.

— Я же еще хозяйка в этом доме! Где хочу, там и ложусь! И не указите!

В ее строптивости парни почувствовали, что они на верном пути и что разгадка черта близка.

— А мы вас заставим перейти! — повысил голос Леня и посмотрел на Митю: мол, правильно действуют? Митя одобрительно качнул головой.

— Насилие нынче отменено, — не сдавалась Васеня.

— Тогда я за милицией пойду, в Совете ночует милиционер, — пригрозил Леня.

Тут Васеня заколебалась и сдалась. Надела кофту и юбку, встала с кровати, смотала постель — подушку вместе с подстилкой и одеяло, — взяла ее в охапку, оставив на голой кровати дочку, шагнула из горницы.

Из свернутой постели выпал ножик.

— Что такое? — закричал Леня. — А ну, положи постель обратно!

Васеня прижала сверток к груди и присела на кровать.

— Изгаляетесь над бабой. Я вот скажу Филатову.

Кузьмин потянул за подушку, за матрац — и на пол посыпались: юрок ниток, моток, кружка, полено.

У Мити глаза расширились.

— На всю ночь запаслась, тетка Василиса!? Одевайся, в сельсовет поведем, — сказал он.

— Ой, ребятушки, пожалейте меня, дуру! Не хотела жить в кулацком доме! Вот и придумала чертей.

— А сама просишь перевезти дом.

— Не прошу! Это он просил, Коля. Ему дом этот нужен. А у меня совесть не дозволяет в чужом жить! Глаза на людей не смотрят... Не водите сейчас меня никуда, не пугайте маленьких, сама завтра приду в сельсовет.

Утром Филатов встретил Васеню сурово:

— В район поедешь, к прокурору, — сказал он. — Как подкулачница.

— Да какая я подкулачница, вечная беднота, сам знаешь!

Филатов смягчился.

— Ну, рассказывай, зачем ты это делала. Ты боялась жить в этом доме?

— Ага.

— А в чем дело? Говори, не молчи. Кто тебя запугал?

Васеня помялась немного, подумала.

— Забрел к нам мужик однажды, — начала она. — Неухоженный какой-то, с ветру... Тулуп рваный, валенки подшитые и смерзлись, как кости... Пожалела я его, за стол посадила, накормила. А он вылез из-за стола, перекрестился на икону и говорит: дом этот стоит на песке. Я ему: на фундаменте, говорю, дом-то, а не на песке. А он свое: безрассудные люди строят дома на песке... Так сказал наш спаситель Иисус Христос.

Васеня остановилась, передохнула, вспоминая мудреные слова пришедшего человека, и продолжала:

— Вы безрассудные, заблудшие овцы, которых надо спасать, говорит мужик. Я ему опять: не мели ерунду, уходи с богом! А он гнет свое: сегодня, говорит, слепой ведет слепого, и оба они в яму уладут. В писании будто бы сказано, что восстанут лжепророки и прельстят многих, и вот вас, дескать, прельстили этим домом, поэтому он как бы на песке, непрочный: вернутся хозяева и всю семью вашу — под корень... Я заругалась на бродяжку, выпихнула его из избы... А сама места себе не нахожу. Кошки скребут на душе. Что делать? Истужилась вся. Сначала хотела Коле рассказать, а потом раздумала. Коля что, Коля только посмеется. Скажет — побольше слушай всяких прохожих и проезжих, они тебе наговорят семь верст до небес... И решила я Коле ничего не говорить, а по-другому его обработать; чертей выдумала... Что мне теперь будет? Деток хоть пожалейте!

Она виновато, но с проблеском надежды посмотрела на Филатова.

— Ты что же, не поверила в прочность Советской власти? Думаешь, ее свалят? Пробовали — не вышло. Да никому и никогда ее не свалить! Потому что Советская власть — это мы, народ...

Филатов любил иногда выразиться сильно. Для Васени он не пожалел хороших слов.

— Иди и живи смело, никого не слушай, — закончил он.

— Спасибо, Федор Семеныч, — повеселела Васеня. — Прости меня, дуру неграмотную... Совсем я закружилась.

Проводив Васеню, Филатов задумался. Не обманула ли его эта бойкая бабенка? Когда Пахорукние жили еще в своей избушке, к Васене, по слухам, похаживал сосед, могучий Копылов Илья. Уж не потому ли хочет она обратно, чтобы этот разлюбезный Илюша был у нее всегда рядом? А может, сам Илья и подослал к Васене этого бродяжку? Он ведь тоже пройдоха хороший...

Сейчас-то Илье ходить к Васене не с руки — через всю деревню, на край села, на виду у всех... Ах, черт, как все перепутано в жизни!

Филатов хотел уже вернуть Васеню и еще поговорить с ней. «Но разве она про Илью скажет? Под угрозой ссылки в Нарым не признается». Филатов засмеялся и махнул рукой.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как и уговаривались, к Оньке еще в середине дня явилась Нюрка Батищева. Подруги закрылись в горнице, шепчутся, хихикают, делают свое дело: Онька выбирает из ящика все, что мать с отцом успели припасти ей в приданое, а Нюрка разглаживает руками вещицы и аккуратно укладывает в стопу.

Деревня Ивановка справляет пасху. И хотя на колокольне не звонят, потому что колокола сняты, праздник все равно чувствуется: мимо окон проходят приодетые, с лоснящимися щеками и жирными губами сельчане, веселые девки надели яркие наряды, ботинки на высоких каблуках, на зазеленевшем пригорке парни играют в лапту, а подростки — в бабки... Впрочем, в бабки дуются и мужичье, и даже старики.

У плетней и тынов, у домов и оградок протоптаны дорожки, они уже подсохли. А по центру улицы подводы еще месяц жирную грязь, и в ямках и колеях поблескивает вода. Ветра нет, рассеявшееся солнце хорошо прогревает. Воробьи под окнами хлопчут, играют, орут безумолку, как пьяная компания. На крыльце колхозной конторы, которую устроили в доме сосланного кулака Евстафия Латкина, толпятся мужики, балагурят, гогочут, пускают дымки от сигарок.

Дома у Дроздовых нет никого, кроме Оньки и Нюрки: отец ушел, кажется, в контору, мать — в гости к тетке Марье, ребятишки на увале во всякие игры тешатся.

Когда все сложили и увязали, Нюрка сказала:

— Я сейчас домой побегу, а вечером жди, приду, вместе будем выносить узел.

Онька проводила подружку до ворот, посидела на лавочке, постояла для чего-то на крыльце. Зашла в дом, но и тут не могла найти себе места, ходила из угла в угол... Прилегла на кровать и попыталась вздремнуть — где там! — сна ни в одном глазу не было. Но с кровати тоже не хотелось уходить.

Она слышала, как вернулись мать, отец, Катька, парнишки. Собрали на стол, звали ее к ужину, но она отказалась: «Я уже поела, не хочу».

После ужина мать открыла дверь горницы:

— Ты чего валяешься днем-то? Леня разводишь? Вставай! Иди корову подой.

Наконец-то наступил вечер. Только она успела в сених после дойки прогладить мо-

локо, явилась Нюрка. Они снова закрылись в горнице.

— Страшно? — зашептала Нюрка. — Не раздумала?

— Зачем же на попятную?

— Ты смелая, Онька!

— Это не я... Это Митя такой смелый. Один Митя был теперь у нее на уме.

Пронести большой узел с приданным через избу и сенки едва ли удастся. Выбрасывать его через окно на дорожку тоже нельзя: сразу заметят. Что же делать? И они придумали. Развязать узел. Все, что можно было надеть на себя — кофты, сафаны, юбки, платишки, — Онька наде-ла, а остальным обмотала Нюрку. Девки вмиг сделались толстущими и неповоротливыми.

— Вот когда ты настоящая попадья, — хохотнула Нюрка. Оньке вспомнилось детство, отец Василий и тетки-Марьины шуточки.

Бесшумно проскользнули они через кухню. Лампу еще не зажгали, и никто ничего не заметил. Мать вдогонку построжилась:

— Ты у меня, Онька, долго не ходи! Чтобы вместе со всеми явилась! А припозднишься — не открою!

«Не придется открывать», — улыбнулась Онька.

Митя встретил их в переулочке. Он был не один — рядом стоял Кузьмин Леня, Нюркин жених. Митя взял Оньку за руку и крепко сжал ее.

Леня и Нюрка пошли вперед, словно разведчики: грязь на дороге подсохла, загустела, липла к обуви, ноги с трудом вытаскивались из нее. Нюрка остановилась, зашептала на ухо подруге:

— Как дверь-то откроешь, смотри на порог не наступи, перешагивай его. Наступишь — говорят, счастья не будет, запнется твоя жизнь... Тогда хоть домой поворачивай сразу.

— Не наступлю, — обещала Онька.

Через яр шли на ощупь, держась друг за дружку, — темень была такая, что глаза оказались лишними — держи их закрытыми или открытыми, все равно ничего не увидишь.

Перед Чупинским домом, который празднично светился всеми окнами, у Оньки перехватило дыхание. Почувствовав ее испуг и нерешительность, Нюрка подтолкнула подружку:

— Теперь уж чего упираться, иди, иди! Молодых встретили брат Мити Федор и его жена Лукерья.

— Добро пожаловать, Митя и Оня, —

ласково пропела сношеница. — Мы вас ждем.

Онька жмурилась: десятилинейная лампа, висевшая под потолком, ослепляла и как-то сковывала, связывала ее.

— Ой! — вдруг спохватилась она, вспомнив совет Нюрки. Ведь миновали уже два порога — хорошо ли она их переступила? Но так и не могла вспомнить.

— Ты чего, подруженька? — спросила Нюрка.

— Да так.

— Страшно? — зашептала Нюрка.

— Нет.

...Утром она вдруг поняла, что с ней случилось что-то унижительное и непоправимое. Она вспомнила ночное смятение, стыд, слезы, и ей захотелось вернуть прежнюю свою нетронутость, беспечальность и независимость. Вспомнила родительский дом. Ах, так бы сейчас и убежала туда, за яр, в родное гнездо, к девичьей свободе! Оказывается, за одну ночь она соскучилась по матери и отцу, по всем братишкам, с которыми чуть не каждый день цапалась, по беловолосой Катьке, даже по лохматому Шарику и по корове с ласковой кличкой Дочка. Разлука с родными угнетала ее еще и потому, что убежала она от них тайно, коварно, словно были они злыми недругами.

Она сидела на лавке, у стены, и плакала. Никто не входил в комнату и не мешал ей. В охватившей ее томительной тоске был только один просвет: Митя. Но даже Митя показался сейчас непонятным, чужим и грубым.

Вошла сношеница, сказала:

— Зачем теперь плакать? Надо начинать жить по-новому. Онька заревела сильнее — слезы катились сами собой, и она их не останавливала.

Назавтра пришла тетка Марья, крестная.

— Ну, девка, выкинула ты фортель, — начала она чуть ли не с порога. — Отец-то из-за тебя мать прибил, недоглядела, мол, вожжи распустила. Ходит по деревне пьяненький, на судьбу жалуется. На крыльцо встанет и смотрит сюда, на Чупинскую усадьбу: не покажется ли доченька? Что теперь будем делать? — Словом «будем» тетка Марья предлагала себя в сообщницы.

— Не знаю, — потерянно ответила Онька. — Как Митя.

— Надо идти виниться перед родителями.

— Как Митя, — повторила Онька.

Тетка Марья ушла ни с чем.

Высохла грязь на улицах. Дом Чупиных стоял почти на краю деревни, и когда Онька выходила во дворик, она слышала, как за увалом заливается жаворонок. С полей дул теплый ветер. Молодая травка пробивалась на прогретых взлобках.

А дома ждал ее Митя. Он вовсе не приходил на мужа. Господи, какой это муж! Это просто баловной, озорной парень, и такой страшно свой, какая она, Онька, сама для себя своя... Когда он на руках носил ее по горнице, то переласкивал на ее лице все-все: губы, глаза, нос, лоб, щеки, даже уши. «За что мне такое счастье?!» — шептал он, наклонившись к ее уху, и крепко сжимал в руках. «Господи, неужели муж может так любить? — удивлялась Онька. — Как ребенка меня балует». И только забудется она, зайграется, расцветет вся — снова вспомнит о родительском молчании, о незаконности своей любви — ведь любовь эта вроде бы украденная и ото всех спрятанная...

— Митя, когда мы пойдем к нашим?

Он не хотел сильно задумываться над этим. «Долой старые порядки! — говорил он. — Мы сами себе хозяева, вольные птицы. Не ранешная власть...» Но в дом зачастили его родственники, старики и старушки, пожилые мужики и бабы — сломили некрепкую волю. Онька радовалась: слава богу, все теперь утрясется. Очень уж ей хотелось пойти домой, соскучилась по всем своим. Никто из них глаз не кажет, не приходит, вот ведь как набычились.

В воскресенье молодые вместе со сватами двинулись наконец к дому Дроздовых. Не отстали от них Ленья Кузьмин и Нюрка Батищева. Онька шла, стыдливо сжавшись, не смотрела на людей. Зашли в дроздовский дом. Народу набежало — вся деревня: в каждое окно пялятся, в дверь лезом лезут... Будто спектакль тут показывают.

Сватов Митя выбрал не абы кого, а мужиков почетных, видных: Федот Васильевич Котов — в партизанском штабе служил; дядя Андрей Молотков — доверенный на маслозаводе, совершенно лысый, лобастый мужик, хотя и шепелявый, но первый на селе грамотей; Прокоша Чернов по прозвищу Демьян Бедный — чистый артист, в каждом спектакле играет, за словом в карман не лезет, на всех собраниях оратор, любого уговорит.

Сватовья развернули свои узелки, поставили на середину стола четверть водки. Сами расселись по лавкам. Но хозяева что-то не привечают. Мать как лежала на кро-

вати, так и осталась лежать. Отец, правда, на стуле сидит, то побелеет, то покраснеет, но рот тоже будто запечатал — ни словечка, хотя говорун известный — с каждым поздравляется, останавливается, пошутит.

Оньке страшно. Как вросла в пол у порога рядом с Митей, так и стоит, боясь шелохнуться. А сзади люди напирают, жарко дышат в затылок.

— Встать бы надо, Федосья Петровна, мы с делом к вам пришли, а не пустой разговор вести, — начинает Котов.

Прокоша Чернов подхватывает:

— Отлегулировать вопрос надо, Тимофей Андреевич, чтобы, значит, полюбовно... И в нашем советском духе.

Но Тимофей Андреевич закусил удила.

— Нашла себе мужа, нас не спросила, пусть теперь живет, — обидчиво произносит он.

Федот Васильевич вынимает из узла рюмочки, наливает вино, подает отцу:

— Давайте, Тимофей Андреевич, пропустим. За дочку, за такую... пригожую.

— Что я, вина не пил? — куражится отец. — Ваше вино не нужно мне, у меня своего хватит!

— Знаем, знаем, что хватит! — угодливо говорит Прокоша. — Мужик ты справный, трудовой...

Онька украдкой улыбнулась: сейчас тятенька сдастся. Любит же выпить, не устоит против четверти, а своего-то вина нет у него, откуда оно? Хвастает... Хоть на лице все еще злость и неприступность, а душа начинает петухом петь, отходит... Вот-вот сломается.

Однако отец кочевряжится: отпихивает рукой рюмку, в пол глядит. А мать уже встала с кровати, прошла в куть, села у шестка.

— Опоздали мы, Тимофей Андреевич, разводить дебаты, — со значением говорит Прокоша Чернов. — Что с возу упало, то пропало.

Отец вспыхнул, у него заподрагивала коленка.

— Вот что я скажу, — заговорила мать. — У нее хресна и хресный есть. Без них ничего делать нельзя. Пусть сходят люди за ними. Что они скажут, так тому и быть.

Онька облегченно вздохнула: нашла мать хороший ход — себя в сторонку отодвинуть... Значит, все уладится.

За крестным и крестной пошли Леня и Нюрка.

Тетка Марья прибежала быстро. Оньку подталкивают девчонки:

— Падайте в ноги родителям, сейчас решать будут!

Онька посмотрела на Митю, но тот шепнул:

— Не будем падать, мы не провинились. Без прошенья проживем.

Онька совсем осмелела, смотрит на всех веселыми глазами.

Как только вошел крестный, тетка Марья заговорила:

— Нынешнее время такое. Знала же Онька, что по-доброму ее не отдадут, потому что молода еще, — вот и вздумала убежать прутиком? Большая уже, не справиться нам с ней. Что случилось, тому, видно, быть. И нечего, Тимофей Андреич, телегу пятить назад, пусть она катится по своей дорожке вперед. Свадьбу надо играть! Бери, бери рюмашку-то, нечего ерепениться, вырастил такую баскую да удалую — погуляй теперь на здоровье!

— Герой ты, Марья! — крикнул Прокоша Чернов.

А крестная и еще добавила, поднимая рюмку:

— Умные люди учат: иди, куда сердце ведет, — не ошибешься. Ну, дети, любите и уважайте друг друга: теперь вы муж да жена — одна сатана, как говорят... Едина плоть.

В избе будто посветлело. Все заулыбались, захохотывали. Мать загремела посудой, понесла на стол рюмки, какие-то постряпушки...

Свадьбу играли целую неделю — родных в селе много, у каждого посидели за столом, каждому честь оказали.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В Павловске Анисья и Мишка пообедали. Потом Анисья всполоснула в пруду руки и ноги, намочила голову, прилегла в тени, под развесистой сосной. Пока Мишка плескался у берега, она успела вздремнуть. Пробудившись, почувала в себе силу, словно вновь народилась. Отдыхать, конечно, хорошо, но при этом ни на вершок не приблизишься к Барнаулу, вот что худо, подумала она, и заспешила, пожалев о потраченном на отдых времени.

Анисья вскочила, подняла коромысло с тяжелыми корзинами, уложила его на плечах (и так неловко, давит, и эдак нехорошо, тянет) и, несмело ступая, словно боясь наколоть ногу, двинулась по опушке бора.

За Павловском их нагнал конный обоз.

Брички катились порожняком — возчики, видно, сдали груз и теперь возвращались домой. «Может, подвезут?» — робко надеялась Анисья, уступая обозу дорогу. Но вот прошла одна, другая, третья подвода — Анисью никто не пригласил. А проситься она не смела. Сморенные обозники клевали носами, другие и вовсе спали, растянувшись во всю длину повозки. Мишка попробовал прицепиться к одной из телег, но возница, оболтус лет пятнадцати, вдруг привстал и огрел парнишку бичом. Мишка схватился за плечо, заойкал, от боли у него перекошилось лицо и выступили слезы.

— Дурак, а не лечишься! — крикнула недорослю возмущенная Анисья, но тот или не расслышал, или лень его одолела, даже не огрызнулся. Анисья заголила у Мишки рубашонку, начала растирать красную припухшую полосу на плече и спине. «Готов глаза выхлестать ребенку, о господи, и где только такие злыдни растут», — говорила она.

Последний обозник оказался разговорчивым.

— Далеко ли идешь, тетка?

— А тебе не все ли равно, племянничек? — ответила не остывшая от обиды Анисья.

— Хочешь — подвезу?

— Подвезешь небось... Бичами только махать.

— Я не такой.

Анисья глянула на лицо возчика — корявое, как терка, пыльное, заросшее рыжей щетиной — и оробела: повстречайся с таким один на один где-нибудь в глуши — обомрешь со страху. «Может, и правда — добрый человек?» — подумала она.

— Вижу, ты притомилась, тетка, — говорил возчик. — А я женщин жалею... Поэтому что люблю, — он обнажил широкие, крупные зубы, что должно было означать улыбку.

«Ну, харя, — подумала Анисья. — Не видывала еще таких. А тоже ведь намеки строит...» Все-таки в словах косога ей слышалось искреннее сочувствие. Никогда не умевшая хитрить с людьми и скрытничать, она тотчас рассказала возчику, кто такал, откуда, куда и зачем идет. «Кое-что постряпала из последнего», — сказала она. Одной рукой она оперлась о боковую лесину брички, а другой придерживала коромысло.

— До самого города доведу, — сказал одноглазый. — Если не пожалеешь полбуханки хлеба. Садись!

— Хлеба? — удивилась Анисья и сразу

же отняла руку от брички. — Ой, не могу! С чем же я к мужу приду, к солдату? У са-мих с утра во рту крошки хлеба не было, одну картошку с огурцами молотим.

— Тогда и разговаривать не об чем, кума. Валяй на своем одинадцатом номере, — засмеялся рябой. — Н-но, лодыри! Хватит дремать! — крикнул он, взмахнув вожжами. — Денька через два в Барнауле будешь, кума, не раньше!

— А хоть и через неделю! — ответила Анисья. — Лежа на боку хотел полбуханки заработать?! На государственных-то лошадях! Умный какой нашелся! Езжай, езжай!

Укатил, растаял в далекой дымке обоз, слово и не появившись. И снова на тракте безлюдье. Позванивают в пшенице невидимые кузнечики, словно ножницами стригут тончайшую медную жечь... Может, это все и не кузнечики, а колосья друг о дружку бьются и звенят? Всю степь заполнила их музыка, под нее пищит суслик, свистит птичка... Порою кажется, что звень стоит не в самой пшенице, не в ее гущине, а висит над полосами, в воздухе, — это она вдали серебрится и переливается.

Солнце жжет голову, лицо, плечи. Корзины пригибают к земле. «День-то, день-то какой долгий... Ох-охо... Год, а не день... Хоть бы одно облачко на небе!» — думает Анисья.

У Мишки в дороге свои дела. Сорвет колосок и мусолит во рту, хотя зерно-то совсем еще водянистое, пустое. То за пенцом кинется, который летать еще как следует не умеет, то камешками в цель бьет, то суслика начнет промышлять, с палкой за ним гоняется. «Беда с мальчишкой — сил не жалеет, а потом хныкать будет, что устал, ноги отбил», — думает Анисья.

К вечеру надвинулись с запада прохладные тучи, закрыли небо, ветерок побежал вдоль дороги, спину поглаживает, освежает... Хорошо!

Но до деревни еще далеко.

Совсем сгустилась темень. Нет ни звездочки, ни зари — ночь непроглядна, как омут. Все живое улеглось, угомонилось, за-тайлось. Ни стука телеги, ни шума машины и трактора. Идти в такой немоте неуютно, жутковато. Мишка тоже притих, жметя к матери, за руку ухватился, не отпускает.

Нюют, гудят плечи, совсем чужими стали ноги, будто деревяшки бесчувственные. Они не идут, а волокутся, шаркают об доро-гу. И кажется, будто сзади кто-то бьет палкой под колени — ноги вот-вот подог-нутся, переломятся, и Анисья сунется ли-цом в землю.

Как одолеть эти последние километры? Деревня должна уже появиться, но не видно огонька, не слышно собачьего лая.

— Мам, ну, скоро, что ли, мы придем? — хнычет Мишка.

— Потерпи, потерпи, сынок.

Упасть бы в хлеб и уснуть... Но как страшно даже на один шаг отойти от дороги! Если бы свои поля, ивановские! Там каждую межу, каждую тропку и каждую былинку знаешь. А здесь все чужое, неведомое, пугающее.

Анисья боится даже оглянуться — вдруг сзади волки бегут? Как тогда... Припозднилась однажды, возвращаясь с бригады, и, когда проезжала мимо Черного Лога, вышел из него волчина и затрусил за ее телегой. Кричать она не могла — голос пропал. А он, вражина, бежит и бежит, не отстаёт и не настигает, — как привязанный. Лошадь храпит, скачет во всю прыть, только телега говорит, Анисья вцепилась в дрожину, вожжи бросила, забыла о них, во все глаза смотрит на зверя. Он добежал за ней до самой поскотины — и только тут отстал, на виду у деревни. Она приехала домой ни жива ни мертва — всю ее колотило...

Ах, зачем она сегодня из Павловска пошла? Ночевать бы там — так нет, скорей надо, не терпится. Ноги отстают от туловища, впрочем, она их уже не чувствует, будто их совсем нет. И, кажется, кровинки в ней во всей уже нет, начисто опустела... Даже рукой пошевелить не может.

— Мам, отдохнем давай, — куклится Мишка.

Он еще может говорить. А у нее и на это не хватает сил — во рту все пересохло, не шевельнуть губами и языком.

Темнота давит, гнет. Хорошо, что Мишка рядом. Одной было бы совсем тоскливо.

— Огонек! — крикнул Мишка и отнял от матери руку.

— Где? Где?

— Ну, вон же, с левой руки, видишь?

— Вижу, сынок, слава богу, дошли!

Анисья глубоко вздохнула и словно скинула с себя огромную тяжесть. Наконец-то свернули они на пыльный проселочек, ведущий к Шахам. И вот уже зачернели по сторонам избы. Около одной из них, на жердях, сваленных у плетня, Анисья и Мишка присели... Но надо же искать ночлег! Анисья встала и, с усилием передвигая ноги, подошла к окну, постучала. Ей долго не отвечали. Пришлось еще стучать, громче. Из избы донесся женский голос:

— Ночевать не пускаю, я без мужика.

— А кто тут есть добрый человек? — спросила Анисья.

— В заезжий дом идите, к большим то полям, на тот край.

Они побрели по ночной улице. Черные немые дома казались неприветливыми, но все-таки они не пугали, как безлюдная голая степь. Где этот заезжий дом? Совсем не идут ноженьки, ступить не могут...

Пришлось остановиться около высокого крыльца, выходящего в улицу и называемого парадным. Оно было крытое и наглухо оббитое с боков. Взошли на крыльцо, и Мишка сразу повалился на пол, засопел. «Теперь хоть за ноги тяни — не встанет», — подумала Анисья и сама присела к стене.

Вспомнился отец. Бывало, любого прохожего и проезжего ночевать пустит. Семья боится, а ему хоть бы что — спит и похрапывает. Назавтра начнет ему мать выговаривать, а он: «Ты на чужой стороне не бывала, а я помотался по свету, знаю. Пускал и буду пускать».

Думы Анисьи оборвались. Вместо них в голове начали возникать всякие изображения: вот какой-то дом вырос, вот стога стоят на лугу, трактор почему-то на боку лежит, цветные тряпки валяются... Она засыпала.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Анисья открыла глаза: по улице гнали коров. Утренняя холодная пыль садилась на влажные листья сирени, буйно разросшейся в палисаднике напротив крыльца, проникала на крыльцо, лезла в нос... «Неужели ночь прошла? Кажется, я только что закрыла глаза». Мишка спал, прижав колени к животу и грязные кулачки — к груди. Анисья осмотрела корзины: слава богу, все цело. И хорошо, что ночевали здесь, не дошли до заезжего: десятка сохранилась, а она ведь еще сгодится, не лишняя. Мишку растолкала с трудом. Умылись в конце деревни, в маленьком и круглом, как блюдо, озере с зеленоватой мутной водой и снова вышли на тракт.

— По холодку надо подальше шагнуть, — сказала Анисья. — В жару будем отдыхать где-нибудь за солнышком, в теничке.

И снова — телеграфные столбы да сверкающая проволока, зеленые разливы хлебов до самого неба... С утра в город шли машины со скотом, с шерстью (целая гора над кузовом), со шкурами и кожами... Катились конные и бычьи упряжки. Иногда Анисью и Мишку подвозили, и они благо-

дарили добрых людей. Однообразие полей располагало к долгим раздумьям. И опять Анисья вошла в свою прошлую жизнь, как в воду...

После свадьбы брат Мити подарил молодоженам свой заколоченный пятистенник, что одиноко стоит у яра, и стали они жить-поживать... И тут Анисья узнала, что не только сама она может порою размякнуть, разнежиться и проплакать полдня (а спроси ее — о чем, она не скажет), но что и Митя не всегда ровен и одинаков, выдаются у него такие часы, когда он и слова не обронит, молчит и молчит, лоб нахмурен, между бровями складки, ходит, будто что потерял, и все у него из рук валится... Словно душа его тоскует по чему-то и тоска давит грудь, просит выхода...

У него было две гармонии: одна — «хромка», другая «однорядка», так он их называл. И вот в тяжелую минуту брал он одну из них и начинал потихоньку играть. Сначала будто только пробовал лады, брал какие-то аккорды, ходил пальцами по всем клавишам, прислушивался... Потом у него из нелепицы звуков, похоже, мотив какой-то начинал прорезываться, он упорно твердил его, и мотив звучал яснее, лучше. Но что это такое, Анисья не могла понять: ни танец, ни песня, ни марш, что-то неизвестное, Митина выдумка. Он все ниже склоняется к гармошке, слушает, слушает... А музыка тягучая, тоскливая, душу рвет. «Отчего бы ему так страдать? — думает Анисья. — Так убиваться?»

Однажды Анисья спросила:

— Митя, о чем это ты? Какие твои думки?

— Зачем ты спрашиваешь? Сам не знаю. Душа чего-то просит. Куда-то полететь, что ли... Сам не знаю! — повторил он.

После тоскливой мелодии он начинает играть что-либо знакомое, какую-нибудь песню. Заиграет — и сам запоеет. Значит, отлегло у него от сердца, пришел в себя. Голос у него небольшой, но чистый, мягкий — так и слушала бы его.

Я цыганкой родилась
Меж телег, среди полей.
Во мне рано кровь зажглась,
И рано страсть сказала в ней.
Сырой бор шептал мне сказку,
А соловей мне песню пел...

Ой, какие только песни Митя не пел! И когда и где успел научиться? Или еще в детстве, в коммуне? Онька присядет рядышком и потихоньку подпевать начинает,

высоту прибавлять к его голосу. Поют, поют они вместе, пока в душах их не родятся легкость и радость. Вот Митя улыбнулся, Онька весело развела руками, вскочила со скамейки. Значит, от песен пора переходить к частушкам. Меха гармошки дрожат, переливаются яркими цветами. Митя притоптывает ногой, голову вскинул высоко, длинные волосы убрал со лба... Началось соревнование, кто споеет самую веселую, самую смешную частушку.

Ты пошто меня ударил
Кирпичиной по плечу?
Я пото тебя ударил —
Познакомиться хочу. —

пела Анисья.

Муж не уступал:

Я свою соперницу
Увезу на мельницу,
Бршу в омут головой —
Пусть подрыгает ногой.

А Онька уже приготовила новую:

Я надену юбку рябу,
Рябую-прерябую,
Кто с моим миленком сядет —
Рожу покорябаю!

Митя мечтал о гармошке с серебряными голосами, говорил о ней часто:

— Очень красивые голоса! Сами будто выговаривают слова, как живые люди. Слышала, как серебряный рубль звенит? Такие невозможные голоса будут у этой гармошки! День и ночь играй — слушать не надоест.

— Уж я попляшу под такую гармонию! — весело подхватывала Онька.

Напоются молодожены, Митя отведет душу, поставит обе гармошки на комод, под кружевное покрывало, и опять живет, за дела принимается. Дел у него немало: в колхозе пару лошадей ему дали, пашет на них... Часто у него рвется конская сбруя — то хомут, то шлея, то уздечка (многие хозяева сдали в колхоз все старье, а новое припрятали на чердаках: «Авось еще пригодится») — и сидит Митя по всем вечерам, шорничает. Для гармошки минуты не может выкроить. Онька, везало, уже и сны видит в постели, а он все еще орудует шилом и иглой. Ляжет рядышком тихо-тихо, чтобы не разбудить жену — ей ведь завтра рано вставать, завтрак готовить да к амбарам бежать семена очищать.

Хорошо было тогда работать! Народу много в бригаде, в город, «на производство», редко кто уезжал. Друг перед другом показывали свою сноровку и силу — все

бегом, бегом, наперегонки. Каждому хотелось покрасоваться перед людьми своей удалью и проворством.

В сенокосы Митю ставили метать стога. Тяжелая работа, но и самая почетная. Метчику — первое место за столом, лучший кусочек мяса. Митя за сенокос, бывало, исхудает весь, потом изойдет. Рубаха всегда мокрая — хоть выжми. От пота ползет материя, соль ее разъедает... И попочиняла же Анисья его рубахи! Особенно спинки. Хотя тут подописка поставлена, однако и она не спасает. Онька до того испочиняет это место, что иглой не за что зацепиться, заплатка на заплате. «Хозяев нет, одни квартиранты», — смеется Митя, принимая рубаху.

Однажды она приляпала на спину черной косоворотки большую тряпицу из белого холста. «Теперь надежно, до заморозков хватит», — сказал Митя. А бабы смеются над заплатой: «Хитрая Онька, налепила тебе на спину знак, чтобы издали тебя угадывать, не потерешься теперь...»

Побросал же Митя этих копен на стога! В день по сотне и больше. «Тебе, Митенька, не одну палочку надо в тетрадке ставить, а три», — говорил бригадир Алеша Саломатин о трудовнях.

В сенокос муж на лобогрейку сел, а Оньку взял седоком. Тройка лошадей запрягалась в машину, и Онька, худенькая и легкая, как подросток, управляла этой тройкой, сидя на крайней справа лошади... Митя и за лошадьми досмотрит, и запряжет ей сам, и все настроит, только сиди да за повод держись. Жалел, потому и не отпустил от себя.

Но так было недолго. Мите дали жатку, а Анисью поставили снопы вязать за ним. Вот где было тяжело, особенно вначале. Схватит она в охапку сброшенную со жнейки кучку, окрутит вязкой, прижмет коленкой к земле, завяжет, отеребит, отбросит сноп — и опять бегом к другой кучке... Все в наклон да в наклон, некогда спину разогнуть... К вечеру ни рук ни ног не чувствует, кое-как до постели добирается. А на завтра — опять то же самое. Солнце жарит, что печка, во рту у Анисьи сухо, как в натопленной бане, сердце вот-вот выпрыгнет, пот щиплет кожу, но остановиться нельзя: пока Митя едет по другой стороне полосы, надо на этой все кучи связать, чтобы не задерживать работу. И Онька бегаёт как сумасшедшая: неохота ей свою слабость перед Митей и перед бабами показывать.

А Митя не сильно радовался, видя, как тяжело достаются ей эти снопы. Сядут обе

дать на бригаде, а он заглядывает ей в глаза, будто что-то выпытывает, и такая жалость у него на лице, такая виноватость — того и гляди, прощенья начнет просить за что-то.

Поухаживал он тогда за ней! Кусочек мяса, который давали с кашей, сам не съест, обязательно ей подсунет. А что она, жадина, что ли, обжора? Две порции ей нужны? Она возьмет да и перебросит этот кусочек снова ему. Он рассердится, прикрикнет: «Ешь, ешь, не модничай!» А она — свое. Так и перекидывают мясо друг дружке. Наконец, увидит он, что жену не переупрямишь, отрежет от кусочка крошечку себе, а остальное все-таки заставит ее съесть...

«Митя, Митя!» — вслух вздохнула Анисья, и у нее даже слеза покатилась по щеке. Она смахнула ее, глянула на Мишку: не видел ли? Но сын ничего не замечал, увлеченный своим: он орудовал прутиком, сбивал пыль с придорожной высокой леды.

На бригадном собрании Митю выдвинули делегатом на слет колхозников-ударников Западно-Сибирского края. Совсем извелся после этого мужик. На работу соскакивает чуть свет, бежит в бригадную конторку. Похудел, поджарился на солнце, как горшок печной, одни только зубы сверкают... Начнет Анисья ему говорить, чтобы поберег себя, а он посмеивается, шутит: «Я двужильный...»

Вернулся со слета и все про Калинина рассказывал, как тот с трибуны хвалил сибиряков и как высоко над головой поднял орден, который принес из Москвы в награду краю.

Кажется, в эту именно осень у Мити сильно разыгралась ревность. Анисье в районной больнице вырезали аппендицит, она пролежала после операции полмесяца и вернулась домой. После ее приезда молодой врач больницы ни с того ни с сего зачастил в Ивановку. Заделье он себе находил: то медосмотр населения, то случай какой-нибудь эпидемии, то лекция на медицинскую тему... Заезжал он только к Чупиным — и больше ни к кому. Анисья не знала, куда усадить дорогого и знатного гостя, чем и как потчевать. Она стыдилась бедности своей, скудости стола... «И чего это он к нам? Мог бы и к учителю заехать, и к председателю...» Ухаживала за врачом она со всей предупредительностью, на которую только была способна.

Врач пил чай и уезжал, но иногда и ночевать оставался, а сам все говорил и говорил с Анисьей, совершенно забывая о существовании Мити. А Митя, хотя внешне и выказывал гостю почтение, в душе таил тревожный холодок. После отъезда врача он несколько дней ходил как в воду опущенный, с женой почти не разговаривал, на вопросы отвечал нехотя и коротко, резко. «Вот еще беда-то, — сокрушалась Анисья. — Что делать-то мне? Не было печали...»

Как-то в такой именно момент она взглянула на Митю веселыми глазами и расхохоталась.

— Чего раскатилась? — спросил он.

— Сердиться тебе не идет, Митя. Сердитый ты смешной. Не бычись, не надо... Не томи и свою, и мою душу.

— Это мое дело.

— Ведь ты ревнуешь меня к Ивану Петровичу, верно? Ну, признайся?

— Нужен-то мне твой Иван Петрович!

— Угадала, угадала! — засмеялась Анисья и, вцепившись в волосы мужа, пригнула к себе его голову. — Федул — губы надул... Ну, загляни мне в глаза! Дурной! Чего придумал...

— Отстань! — вырывался Митя. — Прицепилась.

— Митя, — серьезно начала Анисья. — Ты никогда ни к кому меня не ревнуй.

— А вдруг? — спросил Митя.

— Ничего не «вдруг»! — ответила Анисья. — Для меня никого на свете нет, кроме тебя.

— Это сейчас. А потом?

— Это будет всегда, всегда!

С тех пор ревность Мити пошла на убыль, да и Иван Петрович стал реже заезжать, а потом и вовсе забыл их деревню.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Новый бригадир Семен Воронин — мужик неотесанный, грубиян и матерщинник. Правда, за бригаду он тоже болел, был беспокойным, как и Алеша Саломатин, — сам не посидит и другим не даст, и вообще порядок любил во всем, но до Алеши ему далеко: подхода к человеку не знал.

Поднимался он очень рано: утренний петух крыльями захлопает — он уже на ногах. Идет в контору, будит сторожиху: открывай, мать-перемать! Глотка у него словно луженая: скажет слово — за версту слышно, а тем более утром, в прохладном и тихом воздухе. И когда он торкался в дверь конторы и матерился, все, кто жил

близко к конторе, пробуждались и кляли его. И по селу вскоре пошло присловье о самом раннем, еще глухом часе: «А Сементо уже в конторе».

Воронин хотя и малограмотный, а голова у него работает неплохо: все в уме подсчитает, без карандаша и бумаги, все в памяти удержит, вплоть до бороньего зуба и заваливающего чересседельника. Одна беда: матерщинник. Дитя ли рядом стоит, девчонка ли — он не разбирается, запустит с верхней полки — хоть стой, хоть падай. И материки-то у него не такие, как у всех, какие-то особенные, где только он их нахватался, небось, сам напридумывал... И бога помянет, и какого-то святителя, и боженят... Его уж и стыдили, а он хоть бы хны, оскалывается: «Не могу я без картинок». И стали бабы поговаривать, что такому бригадиром нельзя работать... Он вроде и хозяин хороший, распорядительный, и для людей не мстительный, не злопамятный, и даже материки свои сыплет без злости, а все-таки не каждый может выслушать их. Приехала как-то в бригаду женщина уполномоченная из района и подслушала все Семеновы «украшения речи». И вскоре же после ее отъезда пришла бумага из района: обсудить на собрании такого некультурного бригадира. Ну, и высыпали Семену... Особенно хорошо высказался Алеша Саломатин, Анисья как сейчас помнит его слова.

— Это что же у тебя, Семанька, получается? — говорил Саломатин. — Ты про все забыл. Про Советскую власть забыл! Она нам говорит: каждый начальник, большой или маленький, к человеку как к равному должен подходить, а не с высоты. Не гонориться, не чваниться и не унижать. За это мы воевали, Семанька, кровушка лилась за это... Ты уважь человека — он тебя десять раз уважит. А у тебя что? Мат на мате. Может, ты без зла говоришь, а у человека все равно на душе гадко. Подчиниться тебе он подчинится, а зубами скрипит...

Семен сидел за столом ни на кого не глядя, потел и часто сморкался.

— Не хотел никого унижать, — вымолвил он, когда Алеша сел. — Просто дурость деревенскую выказывал, темноту свою. Думал: побойчее-то да построже с человеком — так тот скорей поймет и выполнит.

— Вот мы тебя и просветили! — заметил Алеша.

Семена решили снять, а когда стали выбирать нового бригадира, первым назвали Алешу. Однако он решительно отказался.

— Был, был уже, знаете сами, — сказал он.

И тут кто-то возьми да брякни: «Чупина Митрия!» У Анисьи аж сердце упало: «Может, я ослышалась?» Но люди снова назвали Митю. И тогда Анисья вскочила с места и в горячах выпалила ни к селу ни к городу: «Какой из Чупина бригадир? Он же молодой еще! Он на лошадь-то сматериться не может, не то что на человека!» Господи, какой смех поднялся! Вся бригада хохотала. Анисья зарделась от своей глупости, спряталась за чью-то спину и больше уже не то что говорить, глядеть на людей не смела.

Так Митя стал бригадиром.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Для Анисьи начались новые испытания. Оказывается, быть женой бригадира нелегко. Митя однажды сказал ей:

— Вот что, Онька. Ты не помощница бригадира, не заместитель, а просто жена. Ладно? Договорились?

Она, конечно, поняла, куда он клонит. Выходит, обсуждать с Митей бригадные дела, что-то советовать, за кого-то просить, о ком-то свои мнения высказывать — на это она прав не имеет. Зато Митя потребовал, чтобы жена «подавала другим пример». Будь добра, Онька, развертывайся!

Раньше, при других бригадирах, на работе она выкроит минуту и присядет с подругами под кустиком, или на работу попозже выйдет, или домой отпросится пораньше, а то и на весь день останется — постирать, прибраться. И все хорошо было — слыла не последней работницей. Теперь же она лишилась прав на эти маленькие вольности. Встает с рассветом, «когда Семен только что пришел в контору». Пока Митя запрягает коня, у нее уже завтрак готов. После завтрака садятся они в бричку рядышком и едут по улице, собирая народ... А в поле или на лугу Митя, хотя и бригадир, не любит ходить руки в брюки и пальцем указывать — он вместе со всеми пластается. Ну, и жену не балует.

А гармошку забывать стал, редко-редко возьмет в руки, не выдается для нее свободной минуты. Даже в выходной день, который в колхозе случается очень редко, Митю дома не удержишь — торчит в конторе с утра до ночи, словно его там медом кормят. Анисья начала беспокоиться. Совсем про свой дом забыл мужик: порой и дров нет, до последнего полена дотянет, случается, что и сена на крыше ни клочка,

для себя, для своих домашних дел у него, видишь ли, последняя очередь.

Снедают его бригадные заботы, почернел мужик, табаком прокоптился... Онька начала потихоньку настраивать мужа, чтобы отказался от бригадирства, но он слушает ее да помалкивает.

Однажды удобный случай представился. Поехал Митя на военные сборы на два месяца. Бригаду сдал Семену Воронину. Онька решила: «Вернется — возьмет пару лошадей и будет работать. Хоть спокойно поживем».

При возвращении со сборов у Мити на пароходе украли фанерный чемоданишко. Ценного в нем была одна только малиновая рубашка, остальное — рвань, старье, не жалко выбросить. Но Анисью сильно огорчила эта потеря: двести яиц отнесла она в лавку за малиновый сатин, что пошел на рубашку, как не пожалеешь! Однако в день приезда о рубашке и разговора не было. Ну, украли и украли, что теперь поделаешь, подавитесь они ей. Митя весь вечер играл на гармошке, пел, к нему припарилась и жена, и оба испытывали веселое, праздничное чувство, словно вернулись в свой медовый месяц.

Прошло дня два. Митя засобирился в контору. Онька говорит:

— Ты сегодня уже на работу? Откажись ты, Митя, от своей должности. Зачем она тебе? Силком не заставят, нет таких законов.

Митя промолчал.

Молчал он и на следующий день. Может быть, он и думал отказаться, но не находил в себе смелости, чтобы просить об этом Самохина. К тому же недавно подал заявление в партию. Его нерешительность раздражала Анисью.

— Вот такие размазни, как ты, и теряют чемоданы! — выпалила она однажды.

Митя вспыхнул:

— Если ты еще раз напомнишь мне про этот проклятый чемодан и про рубашку — уйду.

— Ой, Митя, не буду, прости, я спохватилась уже, да поздно.

Все-таки ей очень хотелось, чтобы муж пожил без суеты, больших забот и вечного страха за бригаду и за себя. Она не верила, что отказаться от должности нельзя, показывала себя страшно обиженной и рассерженной. Вечером, закончив шить новые брюки и подавая мужу для примерки, вдруг обронила:

— К этим бы брюкам да та малиновая рубашка!

Митя дернул плечами, схватился за пид-

жак и картуз и молча выскочил из горницы, хлопнул избяной дверью. Анисья поспешила за ним, спросила мать, сидевшую в избе за прялкой:

— Ушел, что ли?

— Ты чего мужика рассердила?

Анисья рассказала все, и мать напустилась на нее:

— Дура ты, дура! Далась тебе эта рубаха! Плюнула бы! Нашел — не радуйся, потерял — не жалуйся.

— Не из-за рубахи мы ссоримся.

— Иди сейчас же найди и приведи его! — приказала мать. — Ты виновата! Не мудрый над мужиком, не смей больше досажать ему!

Мать любила Митю.

Анисья вышла на двор, постояла, послушала деревню. Редко где светились огни. «Куда он мог пойти? — гадала Анисья. — Небось, к Семену, больше некуда». Тихо ступая, она подкралась к дому Ворониных и увидела на крыльце две красных точки. Мужики о чем-то тихо говорили. Анисья не могла разобрать ни одного слова, а очень хотелось бы что-то услышать. Она боялась, что Митя может пожаловаться Семену на нее, рассказать о ссоре — вот будет стыдобушка, не дай бог.

У нее дрожало все внутри, и не столько от холодного осеннего ветерка и сырости, сколько от чувства виноватости и отворачивания к себе. «Подойти, позвать домой? А вдруг пошлет куда подальше? Теперь от него, разгневанного, всего можно ждать. Нет, помешкаю...»

Митя сошел с крыльца, попрощался с Семеном и направился вниз, в переулок, который вел к яру. Не иначе — к Федору, к брату, подался. Там и останется. «Уж он, если сказал «уйду» — уйдет», — думала Анисья. С бьющимся сердцем — она за мужем. Он спустился в яр, перешел ручей, поднялся по взвозу. Она прибавила шагу, нагнала его, оказалась близко-близко к нему. А он не слышит ее шагов, топает и топает к дому Федора, к своему родному дому. Вот сейчас оградка, воротца...

— Митя! — панически крикнула Анисья.

Он сразу остановился. Может, еще раньше почуяв жену за спиной, он ждал этого ее окрика? Или его поразила и сразу остановила необычная, гортанная надрывность ее голоса? Готовая вот-вот разрыдаться, Анисья робко шагнула к нему.

— Пойдем домой, — сказала она жалким, срывающимся голосом и взяла его за руку.

Он повиновался без слова. Она повела

его, боясь отпустить руку, и так они шли до самого дома. Анисья всхлипывала, называла себя дурочкой, просила простить ее, глупую. Он долго молчал, не в силах переломить свою обиду, свое возмущение. Наконец жалость и любовь взяли в нем верх, и он сказал:

— Ладно уж, чего там... Я тоже погорячился.

В этот вечер оба они стали нежнее и чутче друг к другу. Анисья теперь очень боялась «ляпнуть» мужу что-то обидное, приносящее душевную боль.

А от должности своей Митя так и не освободился. Правда, в ту зиму послали его на курсы полеводоов, но, окончив их, он опять же вернулся на свою прежнюю работу. Купили Чупины свой домишко, отошли от Дроздовых. Митя и фермой заведовал, и в замах у председателя ходил, а в армию ушел со своего «насиженного» бригадирского места.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мощный (ближе к городу) тракт пересекался широким, наезженным и пыльным проселком, который вел в Барнаульский бор. От своротка до леса оставалось рукой подать. Анисья присела отдохнуть и никак не могла встать, чтобы снова двинуться.

Миша торопил:

— И чего ты, мам, рассиделась?! Скорее пойдем к папке!

— И верно-то, — соглашалась Анисья, но продолжала сидеть. С кряхтением и оханьем, точно старуха, поднялась она с земли, едва-едва начала переступать ногами... Разминка была долгой и мучительной. Но вот она опять втянулась в ходьбу и пошла расторопнее. А когда стали приближаться к бору, к конечному пункту своего длинного и тяжелого путешествия, у нее откуда-то взялись новые силы.

Разыскать в бору Митю не представляло труда — к лагерю воинской части вела широкая накатанная дорога. Гостей встретил постовой, стоявший у длинного зеленого трехстенного шалаша. Мишка впервые видел настоящего военного с правдашной винтовкой. Это был загорелый стриженный дядя с рыжими усами, в выцветшей пилотке и старенькой, пропотевшей гимнастерке с расстегнутыми верхними пуговицами, в ботинках с обмотками. Дядя усадил Мишку и мать его под крышу, предложил воды из бачка, стоявшего в углу, на чурке, нацедив полный котелок. Мишка глотал с такой

жадностью, что вода лилась у него по подбородку, измочила всю грудь и даже потекла вниз, под штанишки. Мамка заругалась:

— Ты что как ребенок?! Вот худоротик! Что отец скажет?

Мишка тотчас отвалился от котелка. Мать начала расспрашивать бойца про всякую всячину, кто он и откуда, давно ли служит, кто у него дома остался, знает ли он Чупина Митрия.

— В одной роте, — ответил боец.

Ждать папку пришлось долго, до самого вечера. Наконец он показался на дорожке. Если бы Мишке не сказали, что идет отец, он ни за что не признал бы его: загоревший на солнце до черноты, будто головешка, тонкий, словно усохший, кривоногий в своих высоких черных обмотках — нет, не таким хотелось Мишке увидеть отца! И огорчало еще то, что за плечами у отца ничего не было — ни автомата, ни даже простой винтовки. Но все равно это был папка, самый настоящий живой папка, и Мишка припустил по дорожке навстречу ему и не помнил, как оказался повисшим на его плечах. Руки отца были такими же, что и раньше, — сильными и осторожными. Сейчас прижимали они Мишку так крепко, что у него хрустела спина. Мишке ударил в нос запах потной, просоленной гимнастерки, потом он учуял и другой запах — махорочного дыма, почувствовал упругое, жесткое, точно из одних костей, тело отца. Опустив на землю сына, отец принял в расставленные руки мать. Она долго молчала у него на груди. Мишке тоскливо стало.

Мать оторвалась, наконец, от отца, отстранилась и, вытирая слезы, разглядывала его на расстоянии, сказала:

— Как обрезало-то тебя, Митя!

— Лишний жирок согнали, он тут не нужен, — ответил отец.

— Какой там жирок!

Мишка спросил:

— Пап, а почему ты без автомата?

Отец скупо улыбнулся сухими, запекшимися губами. Ему, солдату Чупину, недавно выдали трехлинейку образца 1891 года, с ней он и проходит учебу, но разве можно об этом говорить Мишке?

— Автомат у меня есть, сынок, только я ношу его во время занятий, а на свидания у нас все бойцы ходят без оружия. Не разрешают брать автомат на свидание. Дисциплина, сам понимаешь.

— Понимаю, пап.

Они пошли по тропинке, петляющей между сосен в невысокой траве. Вскоре

уткнулись в берег речки. Мишка увидел шалашик, крытый порыжевшем лапником.

— В нем и поживете, — указал отец на шалаш. — А я буду приходить к вам после занятий, меня командир отпустит.

— Давайте ужинать, — предложила мать.

Она расстелила белую чистую тряпицу и начала выкладывать на нее из корзины стряпню, яйца, масло... Отец сразу же принался за рыбный пирог...

Трое суток провели мать с сыном в этом шалаше. За это время рядом выросло еще пять таких жилищ: на свидание к солдатам шли и ехали жены, матери, сестры. «Семейный лагерь» расширился, но ни у кого, даже у самого генерала, не поднималась рука закрыть его, порушить.

Когда Мишка притихал в углу шалаша, Митя с Анисьей выходили на волю, бродили в темноте среди сосен, сидели на берегу речушки, тесно прижавшись друг к другу. Эти знойные ночи прощания напомнили первые дни их совместной жизни. Как будто не существовало одиннадцати лет супружества, и все было внове — и целомудренная робость, и жар нетерпения.

Говорили обо всем: об отце Анисьи, о Тимке и Ваньке, обо всех живых и погибших, обсудили деревенские новости, всякие бригадные дела... Только вот о гибели Ветки Анисья промолчала, не хотела огорчать мужа. Ни слова не сказала она и об ухаживаниях Сереги Поднебесного — Митя может беспричинно надуться, как тогда, при наездах врача. Зачем мужика расстраивать?

— Ты меня хоть изредка вспоминаешь? — спросил как-то Митя, лишний раз желая услышать от жены слова любви и преданности.

— Нет, — ответила она озорно и загадочно. Он отстранился от нее:

— Забыла совсем? Вот и надейся.

— Дурачок, дурачок ты мой! — она приласкалась к нему, припала к груди. — Вспоминают кого? Кого забывали. А ведь я тебя ни на секунду не забывала, ты все время во мне живешь. На весь век засел... Я всегда, всегда, каждую минуту думаю о тебе... И везде с тобой: дома, на пашне, на покосе... Везде, везде!

— Ах ты, умница моя! Вон как повернула! — и Митя крепко стиснул жену в объятиях.

Однажды она спросила:

— Митя, а что будет, если немец Сталинград заберет? Отступают наши-то... Бойсь я. А он прет напролом.

— Дышло ему в рот, а не Сталинград! — со злостью, которой она от него не ожидала, ответил Митя. И заговорил с особой значительностью, важностью: — Знаешь, Онька, может, меня в живых не будет, ты запомни мои слова навсегда: мы победим! Обязательно наша возьмет! Вот потом вспомнишь.

— Конечно, конечно! — согласилась Анисья. — Только вспоминать твои слова мы будем вместе с тобой, Митя, верно? Вот так же, как сейчас, будем сидеть и вспоминать.

— Верно, — тихо, с грустной ноткой ответил он.

Голодно было в то время — в суп порою крушину добавляли, чтобы погуще был. Анисья старалась получше подкормить мужа, подсовывала ему за ужином самые вкусные кусочки, пихала утром в вещмешок печенюшки, пирожки, рыбу, масло.

Сидя однажды у своего шалаша, Анисья увидела молоденького бойца, шагавшего по тропке к «семейному лагерю». «Вроде Ванька наш? — у нее дрогнуло сердце. — Но откуда здесь Ваньке взяться? Он далеко, где-то в Иркутске, на лейтенанта учится. Разве на побывку приехал и решил вернуться к Мите?»

Анисья вскочила, жадно всматриваясь в солдата. Но когда он подошел ближе, стало ясно, что она обозналась. Хоть и белобрыс, и курнос, и нос также облупился, как часто бывает у Ваньки, и глаза голубенькие, но в крыльцах узок, жидок, гимнастерка висит на нем, как на дощечке. Ванька-то коренастый, недаром, когда еще дома жил и в школе работал, по утрам пробежки вокруг деревни делал и в оградке всякие выгибоны... Зарядку.

Солдат заговорил — и тут уже совсем ясно стало: не Ванька. Голос какой-то тонкий, как у ягненка. Анисье сразу стало жаль этого солдата. У него на плече болтались связанные кожаным шнурком рабочие ботинки.

— Тетенька, вы не купите? — он снял их с плеча и начал показывать. — Смотрите, спиртовая подошва... И колки медные... А товар-то... бычья кожа толстенная... Товарищ мне подарил, из одного котелка ели. Это не военные, это у него свои были ботинки, еще с гражданки. Сам на фронт подался, а мне на память оставил. Возьми, говорит, топай строевым, чтобы земля дрожала. А зачем мне две пары? Валяются в вещмешке, лишняя тяжесть.

Он совал ботинки Анисье. Она подума-

ла: «Да, добрая обувка, хоть куда в ней, хоть на покос, хоть в забочку по дрова. Если дегтем мазать — износу не будет, а на два носка надевать — и зимой можно носить, нога в тепле будет».

А парнишку жаль — такой тощенький да слабый. И вдруг она вспомнила, что в корзине у нее лежит связка сушеных чебаков, та, что дала ей бабка Рогозиха. В одной-разъединственной рубашонке осталась старуха и попросила купить ей на базаре за эту связку рыбы рубаху-перемываху. «Уж ты, Оня, постарайся, — наказывала старуха. — Я в долгу не останусь».

— Пожалуйста, купите, — говорил солдатик своим жалким ягнечным голосом. — Что дадите, то и ладно. А ботинки — сто лет в них пляши, сдюжат.

Анисья вошла в шалаш, достала из корзины шуршащую связку и вынесла бойцу.

— Вот возьми да с другими поделись. Как звать-то?

— Иван.

— Иван? — удивилась Анисья. — Врешь, поди.

— Зачем же мне врать? Обыкновенное имя.

— Брат у меня есть Иван.

— Ах, вон что! Теперь мы все братья. Где же он?

— Да вот так же, как ты, где-то страдает.

— Ну, спасибо, — беря связку, сказал боец и протянул Анисье ботинки. — Будете носить и меня вспоминать.

— Нет, нет, Ваня! — она отстранила ботинки рукой. — Ты уж, Ваня, возьми их, на базар снесешь. Мне они не нужны.

— Сгодятся! — не отступал солдат.

— Что я, торговка какая? — разозлилась Анисья. — Не приставай, уходи!

Боец посмотрел на нее удивленными и восхищенными глазами.

— Ну, сестричка, спасибо! И до свидания! — Он пятился по тропинке, спешил уйти. — На весь взвод уху сварим! А поедем немца бить, тебя в бою вспомню! Обязательно!

— Ладно, ладно, поворачивайся, иди!

Уходя, он помахивал Анисье рукой, но она не отвечала — у нее застыло глаза, горело в глотке...

А вечером был костерок, каша из Митино солдатовского котелка, которую он, потчю Мишку, все похваливал, хотя она и относилась дымком, чай с солдатским сахаром вприкуску...

Миша заснул прямо у огня. Отец перенес его в шалаш, бережно укрыл своей па-

латкой. И снова они ходили по лесу, а утром, под птичий щебет, прощались.

— Ну, Онька, ты у меня героиня, — говорил Митя.

— Она и есть, как раз, — смеялась Анисья.

— А что? Сто верст несла на своих плечах чуть не два пуда. Никогда я тебя не забуду. Оня, никогда!

— Кладь не чижела, когда несешь не чужому, — отшучивалась Анисья, а слезы прощания уже подступили к глазам...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Трое суток добирались Анисья и Мишка до дому. Ушли от Мити они без кусочка, и в деревнях Анисье пришлось заходить в избы, просить поесть, рассказывая при этом историю своего похода... Бабы угощали невкусной, затхлой картошкой, прощолодными солеными огурцами, отдающими кадкой и ямкой. Иногда, сжалившись, они наливали Мишке молочка. Только однажды им повезло. Мишка поиграл на гармошке (отец еще научил), и хозяйка угостила их яичницей. «Я сыночка вспомнила, когда ты заиграл», — говорила она, и глаза у нее блестили радостно.

У Анисьи болели плечи, на них образовались синяки и твердые надавы — задеть нельзя. Вечерами гудели разбитые ноги — она долго вертелась на незнакомой постели, словно лежала на шильях. Зато на душе было светло и покойно: повидалась с Митей, покормила его сытно и сладко и жаркие тайные минуты провела с ним... Как он весь расцветал от этой встречи!

Да и сама она еще жила ею, была там, в лесу, вместе с Митей. Вот сидит человек в глухой темнице — и вдруг свет в окне появился, утешил, успокоил и обнадежил его... Так и для Анисьи эта встреча: дала силы снова жить, растить Мишку и надеяться.

Снова и снова она вспоминает некоторые Митины слова о жизни и о людях: «Онька, прежде чем кого-то осуждать, стань на его место»; «Любовь — счастье, когда она на два сердца одна». Ах, да мало ли он наговорил ей всяких людских примет и присловий! Вот и неученый Митя, а как все правильно понимает. Ну, да не за это же она его любит — любит просто за то, что он Митя.

К вечеру путники подошли к Ивановке. Обогнув Яшину дуброву, они очутились на гребне увала.

— Присядем, Мишка, — сказала Анисья.

Внизу лежала деревня, а за нею, еще ниже, на безграничную даль и ширь размахнулись луга. В груди у Анисьи стеснило, защемило — и слезы прихлынули к глазам. Она смахнула их.

— Вот мы и дома, Мишка. Гляди, как весело у нас! Просторно-то как!

Во все глаза смотрела она на далекий, затянутый голубоватой пленкой Заобский бор, на кусочек Оби, блестящий под солнцем между кустами, на озера и протоки, на темнеющие забоки и гривы, утыканные стогами. Ах, будь у нее крылья, размахнула бы их и полетела... Она и в самом деле помимо своей воли развернула плечи, будто для полета, и на миг ощутила себя парящей над лугами... «Сычевская забока, Березовая грива, Калиново, Новая Демиха», — шептала она знакомые названия. Господи, неужели она дома, неужели ивановские луга опять перед ее глазами? И полевые колки и дубровки? Смотри на них — и плачь или смейся... сколько деревень прошла, а лучше Ивановки не видела во всем этом крае... Может, их нет и на всем свете... Знали бородачи, давным-давно приехавшие сюда из России, где деревню ставить, не дураки были. Наверно, Митя на фронте каждый денечек вспоминает Ивановку, снится она ему. Ох, да один ли Митя! Сколько их, ивановцев, воюет! Недавно подсчитывали на бригаде — вышло около трех сотен человек. В любой семье есть солдат. А в некоторых — по два да по три, а то и больше...

Откуда такое название — Ивановка? Или от церкви Ивана Предтечи? Но скорее оттого, что в деревне много Иванов. Как говорят: кинь в собаку — попадешь в Ивана. Чуть не в каждом дворе — Иван...

Анисья улыбалась. Иван Кузьмин, брат Лени, вместе с Андреем и другими ивановцами Москву от немцев спасал... Маленькая Ивановка, а ее, выходит, и в Москве знают. А в Ленинграде, говорят, живет брат деда Молоткова — профессор, книги пишет. Тоже Ивановом звать. У Алеши Саломатина старший-то сын Иван чуть не генерал... А Ванька Кореньков летчиком служит, на бомбовозе, командует девятью самолетами... В Кузнецке Баев Иван, сродный братец, на заводе сталь выплавляет. На Иванах, выходит, свет стоит...

Чувство гордости за свою маленькую Ивановку так и распирало грудь... Дышалось легко, свободно. Вспоминала Анисья, сколько хлеба, мяса, масла, шерсти и всего другого увозят из Ивановки, сколько деньжищ отваливают ивановцы для государства,

сколько всяких посылок отослали и шлют фронтовикам — и почувствовала, что и сама не в сторонке стоит, не в щелочку смотрит, как люди немца одолевают, а тоже что-то делает... Все делает, что надо. А теперь, после свиданья с Митей, хочется еще сильнее не шадить себя в работе. Лишь бы Мите воевалось хорошо, был бы он сыт, одет и обут, оборудован... Лишь бы Ивановка жила, вечно стояла на своем месте!

Прямо по увалу, без дороги, они спустились в свой огород и пробрались к избе. В окно увидела их бабка Рогозиха, выбежала навстречу, руками всплеснула:

— Живы-здоровы? Слава богу! Охтимеченьки! Гляжу я, без ног пришли. И голодные, вижу. Рыбки сейчас же вам принесу, сегодня добыла, с дороги-то уху спроворите, — и укувыляла в свою избушку.

Анисья открыла сенки, села на порожек, вздохнула облегченно. Вот она и дома... Куры лезли под ноги, тюкали по ее пыльным тапочкам, по загорелым ногам, требовали еды. Цыган, спрыгнув с повети, где, видно, подстерегал птичек, тоже раскрыл перед хозяйкой красную клыкастую пасть и завяньгал. Только в коровьей стае было пустынно и смертельно тихо. Миша посидел минутку и улизнул куда-то, не иначе к дружкам своим — про папку рассказывать.

Анисья зашла в избу, достала из ящика отрез белого материала, положила на кровать.

Рогозиха принесла в тарелке мелкой рыбешки. С громким голодным ревом ворвалась на нею Цыган.

Анисья бросила ему чебачка, и кот ворчливо завозился с ним.

— Вот возьми, на рубаху тебе привезла, — сказала Анисья, подавая старухе отрез.

— Дай тебе бог здоровья, милая, не была. — Рогозиха развернула материал, придиричиво оцупала. — Крепкий, однако до смертушки мне хватит.

— Что тут в деревне нового? — спросила Анисья. — У наших-то ничего не случилось?

— У ваших-то? — Рогозиха заморгала красными веками, бросила отрез, хлопнула руками по костистым бедрам. — Ох, дура я старая! Весь ум прожила. Ведь несчастье у ваших-то, Анисьюшка... Федосья-то на всю деревню голосила.

Анисья уронила тарелку с рыбой, какое-то мгновение тупо и потерянно глядела на старуху — и вдруг кинулась к двери, запнулась о порожек, почувствовав слабость в

ногах, присела, потом легла... И заревела в голос. Рогозиха не смела утешать ее. Она тоже всплакнула.

— Да что же ты мне сразу-то не сказала! Кого убило-то? Тимку или Ваньку? — спрашивала Анисья.

— Не знаю, милая. На-ка вот испей, — старуха поднесла к губам Анисьи кружку с водой. Анисья отпила глоток, поднялась и села на порожек. В голове у нее згло, она ничего не замечала вокруг. Взгляд ее упал на иконку... С дощечки на нее равнодушно смотрел Христос, и Анисья отвернулась. Охая и стоная, она поднялась и с трудом побрела к Дроздовым.

Навстречу ей из родительского дома выбежала Катька, растрепанная, в одном обутке, другая нога — босая. Она упала на грудь Анисьи и затряслась в плаче. Анисья ни о чем не спрашивала, ждала, когда Катька сама все расскажет.

— Ваня без вести... В тылу у немцев сгинул, в десанте участвовал. Товарищ сообщил. А Тима в госпитале, пишет, легко ранен, — говорила Катька сквозь слезы. — Тима-то к своим пробивался с кухней, чтобы их накормить, отрезаны они были. Никто не едет, а Тима решил. Доставил обед, а самого ранило...

— Дак чего об Иване-то убиваетесь? — построжилась Анисья. — Мало ли без вести пропадают, а потом... отыскиваются. Мама-то как?

— Лежит с сердцем уже третий день.

— А тятя?

— Тоже хорошего мало, только виду не подает.

— Ты-то хоть сдала?

— Сдала все, и уже назначение получила — учительницей в Боровушку. Вчера приехала, а тут оба в постелях лежат.

И она опять заплакала. Нос у нее был припухлый, красный, лаково блестящий.

— Катька, хоть ты-то крепись! — с укором сказала Анисья. — Надо отца-мать успокаивать, а ты ревешь, как корова. Сама Анисья тоже была хорошей «слезокапкой», порой по самому малому поводу терла глаза, но сейчас, выплакавшись дома, она смогла держать слезы в себе. Чтобы устоять на этой зыбкой грани, думала о Мите: слава богу, он-то пока еще жив, может, даст бог, и уцелеет, вернется. Есть на свете Митя — и можно все, все вынести, выдержать. Зачем плакать, слезами Ваньку не вернешь, говорила она себе. Нельзя так казнить себя... Поддаться повальному самоубийству, которое охватило семью Дроздовых.

С закаменевшим сердцем вошла она в родительский дом. Но только переступила порог и увидела мать — кинулась к ней и заголосила, и запричитала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Уже более десяти лет разносит Васеня почту. «Наш наркомпочтель», — шутливо зовут ее мужики в деревне. Ежедневные прогулки на свежем воздухе (за почтой она ходит в отделение связи, в соседнюю деревню, что в пяти верстах от Ивановки), постоянное общение с людьми, относительная легкость работы — все это Васене по душе, и она не думает менять свою должность. Грамоте она научилась еще в ликбезе, службу исполняет аккуратно, может даже сверх обязанностей своих прочитать любое письмо, если ее попросит какая-нибудь подслеповатая или неграмотная женщина, написать адрес на конверте или на посылке. Время не старит, а как будто даже молодит Васеню. По селу она идет быстро, смело, как хозяйка, голову несет высоко. Она чувствует свою необходимость людям и свою женскую силу, привлекательность. Не один мужик порой маслено глянет в ее бойкие карие глаза и долго потом смотрит ей вслед, почесывая затылок.

Случай с чертом время приглушило, Васене о нем никто уже и не напоминает. Бродяжка, заходивший тогда к Васене, сильно напугал ее своими речами, и она решила уйти из кулацкого дома. Немалое значение в этом решении имел и Илья Копылов. Но из ее затей ничего не вышло.

Теперь Илья, как и все ивановцы, на фронте, и Васеня совершает великое преступление, тайно распечатывая и прочитывая письма, которые он шлет своей жене Дарье. Правда, приходят они редко — не любит Илья жену, а детей у них нет, так что печаловаться ему не о ком.

Не любит — а письма все-таки шлет. Васеню зло разбирает, когда она несет его письмо Дарье. Небось, ей, Васене, не пришлет весточки, хоть бы два слова написал... А может, он робеет, людского суда боится? Вечно он был несмелый, как красная девица. Вот и ходил к Васене уже женатым, а всегда какой-то боязливый, конфузливый, стеснительный, будто в первый раз... Ах, а не за это ли она его ласкала, не за стыдливость ли его? Илюша, дорогой...

Она не утерпела, написала ему письмо. С жадной тоскою ждала ответа. И он пришел. «Если жив останусь, вернусь не к Дарье, а к тебе, — писал Илья. — Не хо-

чу больше обманывать ни себя, ни Дарью. Зачем притворяться? Один раз мы живем, поэтому надо жить честно, с душой не хитрить, что она просит, то и делать»...

В этот день Васеня как на крыльях летела по деревне. Сто раз прочитала она Илюшино письмо, и хотелось еще его читать. Она забыла о существовании в мире законного мужа своего Коли Пахорукого, в мыслях была уже с Ильей и со своими двумя девочками, одна из которых, Минка, так походила на Илью, что об этом даже Коля догадался. Хоть под старость лет сердце успокоится, не будет разрываться, как теперь...

Но не суждено было Васене соединиться с Ильей. Неожиданно грянул самый черный день в ее жизни: Дарье пришла на мужа похоронка. Несла ее Васеня, и сама ничего не видела вокруг: ни неба, ни земли, ни домов, ни людей... Огненные вихри летали у нее в голове. Кое-как дойдя до дома Копыловых, она сунула страшную бумагу в щель между досок. У нее закружилась голова, ослабли ноги. Она впервые в жизни присела на копыловскую лавочку, скрючилась и затряслась в безголосном рыдании, как в припадке.

Поставить стожок сена Анисье помог Деня Кузьмин. На его же ветеринарской лошади и копыны Мишка возил. Целый день Анисья оторвала у Лени. Хотела заплатить ему, да разве он возьмет? Заругался, когда она сказала о плате: «Я как друг Мити помогаю тебе. И не смей о плате заикаться. Осенью вывезти помогу сено, только скажи».

Начались сентябрьские заморозки. В огородах оголялись грядки, увядала листва, и, незащищенные, пламенели на солнце помидоры, желтели дыни, бурели огурцы-семенники. Картофельная ботва уже повалилась наземь, местами пожелтела, и хозяйки, сунув руку в земляное гнездо, нащупывали молодую, с нежной кожей картошку. Высокими желтыми и бурными зонтиками возвышался над грядками укроп — запах его соперничал по своей силе с запахом чеснока. Сохли, желтели головки мака.

На лугах по утрам и вечерам исходили туманами застоявшиеся болота и луга, окруженные высокими камышами. Раздобревшие утки сбивались в стаи и поднимали на плевсах тревожный отлетный крик.

Хлеба поспели и ждали человеческих рук. МТС выделила колхозу всего лишь один комбайн, да и тот старый, плохо отремонтированный — людям приходилось

надеяться только на свои косилки, на своих быков и лошадей... И вот появились на полах валки, положенные косилками, задвигались, потянулись по полевым дорожкам бычьи упряжки, высоко нагруженные скошенной пшеницей. Около бригадного стана, на току, росла кладь. Рядом возникла вторая, третья... И застучала здесь молотилка, подключенная к старенькому трактору, захлопали веялки, замелькали лопаты. Весь день и всю ночь стояла над током пыль.

Анисья работала рядом с Клавкой, своей бедовой снохой, отгребала солому. Солома непрерывно летела из молотилки, успевай только подхватывать. Анисья и Клава бросали ее другой паре женщин, а та отправляла дальше, третьей паре, которая кидала на последний пункт — метчикам. Соломенный зарод рос на глазах, но и работницам вздохнуть было некогда. Чуть-точку замешкаешься — перед носом уже опять целая гора. Кофточки у женщин не просыхали от пота. Под кладью стояло ведро с водой — за день воду из бочки набирали в него много раз...

После обеда на току появился бригадир Сергей Поднебесный. Он залез на полук, понаблюдал, как Алеша Саломатин подает в барабан горсти пшеницы, сошел на землю, поговорил с Леней Кузьминым, на время уборки ставшим машинистом молотилки, постоял около желоба, из которого сыплется зерно, взял на ладонь несколько зерен, осмотрел, попробовал на зуб.

— В этой кладь зерно совсем сухое, — сказал Кузьмину. — И лопатить не надо, сразу пускать в веялку, а из веялки — в мешки. И скорость молотилки увеличить.

Бригадир постоял около веялки, что-то поговорил с женщинами, раза два-три крутнул рукоятку и подошел наконец к соломотрясу. Здесь он взял горсть соломы, осмотрел ее и начал доить пустые колоски — не окажется ли в них зерна.

— Да мы уже проверяли, — сказала бойкая Клавка. — Сами инспектора по качеству. Ни одного зернышка не нашли. Здорово работает молотилка!

— Пшеница сухая — вот и вымолачивается вся, — заметил Поднебесный. — Но все равно почаще проверяйте. Как только найдете зернышко — останавливайте молотилку, пусть Саломатин и Кузьмин регулируют.

— Слушаемся, — озорно хохотнула Клавка.

Поднебесный молча постоял, пожевал

золотистую соломинку, хотел вроде бы что-то сказать, но раздумал, направился, прихрамывая, к скирдам, оттуда позвал:

— Анисья Тимофеевна! На минуточку!

Анисья посмотрела на Клавку (та улыбалась) и нехотя побрела к бригадиру.

— Зайдем за кладь, посидим в тени, — предложил он.

— Да когда сидеть-то... Прохлаждаться-то не время.

— Ничего, Клавка пока одна поработает, не надсадится. Тебе не трудно стоять у соломотряса? Может, перевести в другое место?

— Нет, нет, не хочу!

Они сели у кладь.

— Ну, говори, что хотел.

Поднебесный попытался подсесть ближе к Анисье — она отодвинулась, он хотел взять ее за руку — она и руку отдернула... И больше он не смел ничего делать, сидел без движения. Ах, где его мужская гордость и самоуверенность! Где привычная вольность языка и рук, легко переходившая когда-то, с другими женщинами, границы дозволенного? Что с ним? Будто перед ним не женщина, а девочка-недотрога, и самому ему не тридцать, а наполовину меньше.

— Сказать я хотел... известно что. Оня, почему ты от меня отбрыкиваешься, как норовистая лошадь! К тебе нельзя подойти, того и гляди — по зубам съездишь.

Анисья улыбнулась.

— А еще что хотел сказать?

— Опять то же. Сегодня вечером стукну в окошко — выйдешь?

— Зачем?

— Сходим на увал, поговорим. Я же ничего, Оня, плохого не замышляю, только поговорить. Или язык отвалится? Побывать мне с тобой охота.

— К чему все это?

— Оня, я не могу без тебя...

— Да я уж это слышала.

Она встала и направилась к Клавке. Молча взялась за грабли, заворошила наковывшуюся солому.

— Зачем он звал? — спросила Клавка.

— Насчет телки, — ответила Анисья. (Скажи правду — разговор не оберешься.) — Я ведь заявление подала в правление. Ну, сказал, что к октябрьским заявления мое разберут. Он уже говорил с Пономаревым.

— Рассказывай, — прищурилась Клавка. — Знаем, о какой телке он думает, — Клавка засмеялась.

— А знаешь, так чего спрашиваешь, — оборвала ее Анисья.

«Клавка что, она баба на эти дела легкая, — думала Анисья. — Как только проводила Андрея в армию, так и начала на мужиков заглядывать, а после похоронки — и вовсе... Я, дескать, вольная птица. Даже Гришку Сазонова, пасечника, не отбросила: задарил он ее тряпками, меду да медовухи сколько ей перетаскал... Слишком уж вольная, оторви-да-брось... Думает, какая сама, такие и все... Ошибаешься, подружка», — мысленно упрекала сноху Анисья, ворочая граблями золотистые соломенные кучи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Вечером Анисья пришла к Дроздовым. Те топили баню — была суббота. Ждали из Боровушки Катю, которая работала в тамошней школе. Анисья из нижнего, 'огородного колодчика наносила воды в баню, мать затопила каменку и печку — из трубы и из всех щелей ветхого сооружения повалил дым. Он стелился по огороду, уходил вниз, к капустнику, и долго стоял там сизой пеленой, принакрыв грядки.

Катя явилась как раз к бане. Она задержалась потому, что работала после уроков на колхозном току, — теперь все, кто живет в деревне, наравне с колхозниками убирают хлеб.

В первый жар пошли отец с матерью. Отец взял веник — с тех пор, как заболел, он еще не парился и веника в баню не брал.

— Хоть ноги погрею, — сказал он.

Анисья радовалась на него: подлечился, на ноги встал. Глаза перестали слезиться, и на щеках румянец появился. Может, еще и работать начнет, дома-то уже топором потихоньку тюкает... Филатов послал бумагу в военкомат, чтобы не брали больше отца в рабочий батальон — очень он нужен колхозу как хороший кузнец, без него все дело стоит.

Отец не только в кузнице может работать — это такой человек, у которого из рук ничто не выпадает, никакой инструмент и никакая работа. Руки у него крепкие, ладони широкие, граблястые — поработано было ими.

Бывало, всем ребятишкам санки скует, коньки... А кошевку выездную сделал — залюбуешься. А как он умел выкручиваться в грудное для семьи время! В голодный двадцать первый год научился пимы катать. По всем ночам, бывало, стоят оба с матерью за верстаком, и руками выстилают огромные мешки из шерсти — это называется «закладывать пимы». Утром, еще в

темноте, мать начинает топить печь, а отец, вытащив «мешки» из кислотного раствора, идет с ними в баню, где уже готов котел с горячей водой. Там, в пару, при колеблющемся пламени коптилки, в одних подштанниках, отец долго стоит над полком, согнувшись и орудуя ребристым вальком и всякими другими приспособлениями. Вся баня ходуном ходит от его ударов, от дребезжащих раскатов граненых железных прутьев, которыми он простирает голенища... К рассвету пимы готовы, посажены на колодки. Отец, завернувшись в тулуп, распаренный, с мокрыми волосами, несет их домой, мать сажает каждый пим на деревянную лопату и отправляет в горячую, хорошо подметенную помелом лещь. Теперь они будут сохнуть до самого вечера.

Вычистить их пемзой, снять с колодок и опалить — это уже ребячье дело. В сенках никогда не выветривался запах жженой шерсти — по нему и узнавали люди (из соседних деревень), что именно здесь живет пимокат. Шерсть «били» тоже парнишки, да не на шерстобитке (таких машин в деревне тогда еще не было), а на лучке, на толстой струне, скрученной из овечьих кишок и туго натянутой на жердь. Такой лучок висел у стены, и парнишки то и дело деревянным смычком били по струне — она колебалась и разбивала, расчесывала комья шерсти. Весь дом гудел от шерстобитного лучка.

Анисья спохватилась: что это она опять в прошлое, в детство перекинулась? Зачем? Видно, жизнь такая, что заставляет обо всем задумываться, о сегодняшнем и о прошлом.

Вот и опять вспоминается... Ну хотя бы этот случай с сеном. Как его не вспомнишь? Разве он забудется? Произошло это совсем недавно, в первую военную зиму. Как только лед окреп, отец поехал по свое сено за Протоку. Подъезжает к стожку, а навстречу ему — воз. Отец видит — макушки-то у стога нет, взята. Эге, думает, да это же мое сено наклали. Вот тебе фунт изюму! Встречает он воз. Э-э, да это Гриша Спелый, единоличник! На своем красном бычшке.

— Здорово, Тимофей Андреич! — поспешил Гришка с приветствием.

— Здорово, Григорий Алексеич!

Остановились. У Гришки глаза бегают, не смотрит на отца.

— Ты вроде из моего стожка-то наклали, Григорий Алексеич? — спрашивает отец.

— Неужто это твой, Тимофей Андреич? — удивился Гриша.

— Да, кажись, мой.

— Не знал, не знал. Думал, кума Петра. Он мне отсулил возок, вот я и накладал.

— Кума Петра? Так он на Березовой Гриве ставил, как раз отсюда десять верст, у Оби.

— Значит, ошибся я, Тимофей Андреич.

— Бывает, бывает, все бывает, Григорий Алексеич.

— Бес попутал, Тимофей Андреич. Уж ты прости меня ради бога...

Гриша самый хитрый в селе мужик. Живет вдвоем с женой, ни ребенка ни котенка, в колхозе не рабывал, все где-нибудь на стороне — то бакенщиком на Оби, то объездчиком в лесхозе... Рыбкой торгует. Живут с женой только для себя. Ряшку наел, как боров. Наверно, от круглой красной морды кличку получил: Спелый. Все похотывает, будто над людьми смеется, дураки, мол, вы... Ни жена его Авдотья, ни он сам ни к кому из соседей не ходят, и к ним в дом ноги никто не кладет.

Анисья даже при воспоминании о Грише сжимает кулаки. На отцовом месте она бы этому Грише бока намяла — бесовестный, крадет у стариков, у которых три сына на фронт пошли. А отец — ничего, посмеивается, хотя вилы-то взял с саней, в руках держит, наготове: от этого Спелого Гриши всего можно ждать, за копейку человека решит, не пожалест.

— Уж ты прости меня, Тимофей Андреич, — распинается Гриша. — Давай переложим сено-то на твои сани и забудем все.

— Зачем же перекладывать? — говорит отец. — Лишняя работа.

— Ты, может, продашь сено-то? — спрашивает Гриша. — Сколько тебе за этот возок? Уж я не постою за ценой-то.

— Непродажно, Григорий Алексеич, — отвечает отец. — Лишнего нет, даже в обрез. Для одной только коровенки. А овечки на обедках живут...

— Дык как же теперь? — растерянно спрашивает Гриша.

— А вези, Григорий Алексеич, вези... Раз накладал — вези.

— Ну, спасибо, Тимофей Андреич, — обрадованный Гриша даже шапку снял и поклонился отцу. — А ты потом из моего стожка возьмешь воз, на Шелеховских, вот и в расчете будем.

— Ну, нет, Григорий Алексеич. Так не пойдет. Век прожил — из чужих стогов не бирывал, на дядино никогда не зарилась. А вези ты этот воз ко мне, у меня на крышу и смечешь.

— Да что ты, Тимофей Андреич? — растерялся Гриша. — Как можно? Без ножа ты меня режешь! Не повезу!

— Федосья покажет, где сметать. До свиданья, Григорий Алексеич! — отец взмахнул бичом и поехал.

А Гриша, постояв в раздумье, повез краденое сено в деревню. Мать перепугал. Когда она увидела в окно, что Гришин бычок с возом заворачивает в ворота и что при возе Гриша, а не отец, она, накинув на плечи шаленку, выбежала во двор.

— Что случилось, Григорий Алексеич! С Тимофеем что? Где он?

— Ничего, ничего, — буркнул Гриша. — Приедет твой Тимофей, что ему доспеется. Показывай, куда сено сметывать. На край повети или ближе к дому, на сенки?

— На край, на край.

Пока Гриша развязывал веревку и снимал бастрык, мать гадала, что произошло, но так ни до чего и не додумалась. Наконец Гриша вымолвил:

— Из вашего стожка по ошибке накладал, ну, и с Тимофеем Андреичем встретился... Он попросил сметать на вашу крышу. Я согласился. Ладно уж, удружу... Для хороших людей...

Мать прыснула со смеху, вбежала в дом, упала на кровать и захохотала беззвучно. Ай да Тимофей, Гришу перехитрил! До слез смеялась мать... А отец потом сказал ей: «Не перехитрил я Гришу, а своей честностью заставил честным быть. Совесть в нем хоть ненадолго пробудилась».

...Из бани первая пришла мать. У нее все еще плохо было с сердцем. Как началось с Андреевой похоронной, так и идет. Она сразу легла на кровать, попросила Катю накапать из пузырька пятнадцать капель.

— Ох, тошнехонько... Грудь жжет. Кое-как доползла до кровати-то... Дай бог отлежаться... Подживи самовар, Онька.

— Отец-то парился? — спросила Анисья.

— Какое паренье! Плеснул полковничка на каменку. Доброго-то пару не выносит.

— Ничего, окрепнет, — сказала Анисья. — Вот хлеба бы для него достать. Или уж попросить у Пономарева?

— Ходила я, просила, — ответила мать. — Говорит, не могу, нет таких указаний.

После бани Мишка забрался на печь и там заснул. Будить его было жаль, и Анисья одна пошла домой, хотя и боялась встречи с Сергеем Поднебесным.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Вернулся из армии Прокоша Чернов — тот Чернов, которого на селе любовно звали Демьяном Бедным и которого Митя брал когда-то в сваты. Весельчак, анекдотчик, прирожденный артист.

Воевал он в Синявинских болотах, под Ленинградом. Долго лечил раны в госпитале. Да и сейчас все еще прибаливает — едва шаркает по селу, опираясь на костыль.

Встретив, Анисья не узнала его, думала, чужой кто-то, не ивановский.

— Оня! Что же ты проходишь?

Анисья остановилась, внимательно всмотрелась в согнутого тщедушного мужичка и чуть не расплакалась.

— Вот изнахратили, гады, — будто оправдываясь, сказал Чернов. — А где теперь Митя-то?

— Тоже на фронте. Два месяца уже воюет, где-то под городом Воронежем.

— Тебя не забывает?

— На той неделе письмо было. Пишет, уже в бой ходил. И скоро, говорит, погоним немца с нашей земли.

— Это точно! Погонят! — повеселел Прокоша. — А чего с ним, чай раскивать, что ли? Гостенек педорогой. Я только об этом и думаю — дотянуть бы мне до того часа, когда он, вражина, пятками сверкать начнет. Дожить бы! Охота, сильно охота! А потом можно и глаза закрыть.

— Доживешь, дядя Прокопий, — отвечала Анисья. — Ивановский воздух полезный. Отдышишься!

А вот Алеше Саломатину ничего не делается. Он не стареет. Четырех сыновей вырастил — все они сейчас воюют. Самому стукнуло шестьдесят, волосы и борода побелели, а лицо гладкое, розоватое, и голубые глаза чистые, веселые.

Анисья часто раздумывает о нем. Жизнь Алешу кажется ей такой же голубой, спокойной и ясной, как солнечный летний день.

В бригаде Алешу, рядового колхозника, люди слушаются едва ли не больше, чем самого бригадира: для любого слово Саломатина очень веско. Все знают: Алеша худому не научит, никого не обидит, не унижит... За правого — заступится, виноватого — поругает. Он и строг, и ласков.

Донести до таких лет завидную крепость, веселость и ласковую общительность

помогло ему, видимо, то, что в сердце его никогда не жила злоба, мстительность, черные помыслы.

Сейчас он работает на молотилке, подает в барабан пшеницу. Весь день стоит на полке, согнувшись и непрерывно работая руками. У него самая пыльная, самая тяжелая работа. И самая опасная: чуть задумаешься, забудешь об осторожности — может рука пострадать, такие случаи нередки. На полку ставят обычно выносливого, внимательного и проворного мужика. А сейчас работает здесь старик Алеша Саломатин, в широких окулярах, с седой от пыли бородой.

Рано утром, направляясь на бригадный ток, Анисья встретила с Саломатиным напротив филатовского палисадника — Алеша нес объемистый узелок. Сообразив, куда он идет, Анисья спросила:

— Что это вы, дядя Алексей, несете?

— Да вот хлеба... Старуха буханку соорудила... Из последней мучки. Хочу больного покормить, — он кивнул на филатовские окна.

— Совсем плох дядя Федор, — сказала Анисья.

— Ничего, отлежится, поднимется.

— Вы вроде не большие друзья? — спросила любопытная Анисья.

— Были друзьями когда-то, но однажды крупно поругались и разошлись. Ты, может, помнишь то время?

— Как же! Митя рассказывал.

— А Митя-то твой письмо мне прислал, — сказал Алеша. — Недавно.

Анисья оживилась.

— Что он пишет?

— Все у него хорошо, воюет. Просит, чтобы я написал ему, как дела в бригаде. Не забывает нас и на фронте. Молодец!

— Спасибо за новость, дядя Алексей. Вы уж отпишите ему, пусть успокоится. Переживательный он очень.

— Обязательно, Онечка, отпишу. Он спрашивает даже про Игреньку, как, дескать, коня содержит Поднебесный, не замордовал ли? — Алеша улыбнулся, показав из-под сивых усов ровные белые зубы. — Ну, я пойду.

Он скрылся за филатовскими воротцами.

«Почему Митя написал не бригадиру, а Алеше? — думала Анисья, проходя по переулку к яру. — Не любит он Серегу, никогда не спросит о нем. Неужели ему что донеслось?»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Мать постучала в окошко еще затемно. Собраться Анисье было недолго, хотя спросонку она плохо соображала. Натянула шерстяные чулки, всунула ноги в обувки, зашнуровала, сняла с гвоздя фуфайку и надела, голову покрыла старой шалью. Не забыла и ножницы взять — еще вчера положила их на видок, на стол, чтобы впотымах не искать... Сунула за пазуху мешочек.

Когда открыла сеночную дверь, увидела над увалом скупую октябрьскую зарю. Мать сидела у стенки на лавочке, щелкала семечки. По деревне шли молча. Анисью бросало в сон, ноги и руки чувствовали неотоспанные остатки вчерашней усталости — с молотбы она пришла глубокой ночью. За селом дорога пошла в гору. Мать первая нарушила молчание.

— Хоть бы на квашню насобирать.

— Наберем, — успокоила ее Анисья. — Больше наберем.

У Задориной Дубравы остановились отдохнуть, сели у дороги на холодноватую землю.

— Совсем что-то сил нету, — пожаловалась мать. — С картошки-то. Часто стала голова кружиться.

— Ты, мам, картошку не хай. Грех ее поносить, она нас всех выручает. А некоторые заедаются ей, как свиньи, поперек толще. — Анисья улыбнулась.

— Мы, старые люди, да еще и сибиряки, к хлебу привычны. Без него нам голодно. Вылезешь из-за стола — и вроде бы не ел, хоть обратно садись.

На полях совсем развиднелось. Голые стояли колки и дубровки. В них кое-где, редко-редко, желтели, как зажженные свечки, низенькие молодые березки, упорно не желавшие расставаться со своей одеждой. По небу низко плыли серые тучи. Хлебная стерня потеряла августовскую золотистость, потемнела. Вся пашня до самого бора лежала однообразная, бесцветная, словно никогда не голубел на ней лен, не белела гречиха, не желтела пшеница.

Уговорились скорее достичь бора и от туда уже, прячась в низинах и за дубровками, начать свое дело — сбор колосков. Двигались теперь ходко, чтобы поскорее исчезнуть с открытого места. Мать едва попевала за дочерью. Начали сбор в большой ложине. Ходили сгорбясь, жадно обшаривая глазами землю. Колосков на полосе валялось немало. Каждый шелушили в ладонях, отвеивали и чистое зерно ссыпали

в мешочки. Брала зерна в рот, жевали, превращая их в вязкую кашичку... Прежде чем съесть, ее долго перемещали во рту.

К середине дня Анисья насобирала чуть ли не половину мешочка. Мать не отставала от нее. Выглянуло солнце, и между рядков стерни зазеленели робкие всходы травы, напоминая о прожитом лете и о тепле. У сборщиц повеселело на душе, они реже стали озираться, тревога их поутихла. Рядом проходила дорога, но она была глухая, запустелая и заросшая муравой, — едва ли кто мог появиться на ней.

Женщины продолжали свое дело. Все равно возвращаться домой можно только вечером, потемну.

И вдруг за колком затарахтел ходок, послышалась громкая речь. Женщины упали на землю, затаились, со страхом вслушиваясь в звуки и лихорадочно размышляя о том, кто бы это мог ехать. И вот повозка показалась из-за колка.

— А ну, не будь шестеркой, туз козырный!

У Анисьи все затаилось внутри, заглодело: так разговаривал со своим конем только один человек в деревне — председатель колхоза Пономарев. Его слова и его голос.

Анисья сильнее прижалась к земле. Подвода погромыхивала недалеко, в какой-то сотне шагов. Анисья вдруг вспомнила, что сегодня видела во сне цыган, а это, как известно, не к добру.

— Ну, чего притаились, как волки? — крикнул Пономарев. — Выходите на дорогу!

Женщины не поднимались, все еще на что-то надеясь.

— Хватит задницы выставлять, вставайте!

Понурий, виноватый вид приближающихся женщин еще больше развеселил его.

— В волки лезете, а хвост собачий, виляет, — засмеялся он, когда Анисья с матерью подошли и поздоровались. — Ну, что скажете? Насобирали?

Женщины молчали, ни о чем не просили. У Анисьи страх уже прошел, его сменила злость.

— Что спросите, то и скажем, — ответила она. — Не узнаю еще, кто в волки лезет. — Ого!

Перед этой не по чину языкастой белокурой кралей, которую он давно в деревне приметил, но с которой один на один не сталкивался, ему сейчас захотелось поважничать, показать свое председательское всемогущество.

— Ты потише! — сказал он. — Словами не бросайся. Топай на бригаду, там разберемся, Чупина?

— Она.

— А это кто с тобой?

— Мать моя.

— Жду вас на бригаде. Пошевеливайтесь! Да мешочки не бросьте!

Он стегнул коня, и легкий ходочек быстро понес его, только колеса замельтешили блестящими шинами.

Женщины потащились вслед.

— Ну, вот, теперь на всех собраниях протрясет, — сказала Анисья. — С языка долго не сойду. Черти его поднесли!

— Ты уж с ним не зубать, дочка, плетью обух не перешибешь, не теперь сказано.

— И где только его выкопали такого грубого? — возмущалась Анисья. — Привезли кота в мешке... Вот придут фронтовики — обтешут, а не обтешут, так тряхнут, только сапоги сбрыкают.

— Когда они еще придут? А пока их нет — лучше помалкивать да посапывать в свои две ноздрюльки, — наставляла мать. — Теперь очень-то не шуми — сильно жесткая штука война.

Бригадный стан оживлен, как и всегда. На току урчит молотилка, хлопают веялки, суетятся люди. Много высоких кладей ждет еще обмолота — работы хватит «до морковкиного заговенья», как говорят бабы.

Анисье стыдно проходить с мешочком мимо людей, куда бы глаза девала. Правда, колоски собирали почти все (только ловили не многих), и для людей Анисьин поход не был чем-то необычным, а все-таки она не остановилась около тока, ни с кем не заговорила, постаралась поскорее прошмыгнуть в помещение, в боковую комнатушку, служившую бригадной канцелярией. Здесь женщин ожидали Пономарев и Поднебесный. Анисья и Федосья Петровна остановились у порога, опустили на пол мешочки.

Анисья перехватила пристальный, обдряющий взгляд Сереги и отвела глаза.

— Как вы дошли до такой жизни? — начал Пономарев. — До воровства социалистической собственности?

— Какое это воровство?! — ответила Анисья. — Все равно добро пропадет. Под снег уйдет. Это что же получается: сам не ам, и другому не дам? Собака на сене? — Распустила язык, Чупина! — при-

крикнул Пономарев. — Сама безобразничаешь, а нас же виноватишь. Кто давал команду собирать колоски? Кто? — Пономарев распалаял себя, подогревал свою злость, наливался кровью. — Ну, скажи, кто?

— А зачем команда... — начала было Анисья, но ее перебил Поднебесный.

— Я, Петр Петрович, — сказал он.

Анисья прикусила язык.

— Ты? Ты разрешил собирать колоски? Отставить, бригадир! Что за чушь!

— Я разрешил только этим двум женщинам, Петр Петрович! Только двоим из всей бригады.

Анисья ушам своим не верила, но перечить Сереге не хотела: пусть, коли охота, на себя вину берет.

— Анисья Чупина — замечательная труженица, — продолжал Поднебесный, словно читая статью из районной газеты. (Он знал, что такие слова Пономарев любит.) Ни одного прогула по неуважительной причине. Часто выходит в ночную смену, по две и по три нормы дает. Решил поощрить.

— А не заливаешь, бригадир? — улыбнулся Пономарев, с головы до ног осматривая Анисью.

— Что вы, что вы, Петр Петрович!

— Ну, а мать?

— Мать тоже работница хорошая. Все лето телят пасла. Но дело даже не в этом. Ее муж Тимофей Андрееч Дроздов, про которого я вам говорил, скоро выйдет на работу в кузницу. Надо мужика поддержать, подкормить.

— Но не таким воровским путем! — все еще не сдавался Пономарев. — Ты вот пришел бы ко мне, вместе бы подумали, решили...

— Я ходила, — вставила мать, но Пономарев ее слова пропустил мимо ушей.

— А то ведь как получается? Ты разрешил двум — потянутся все. Давайте бросим молотить, отгружать хлеб фронту, ремонтировать дворы, кормить скот — все бросим и кинемся собирать колоски. Да за такие дела нас с тобой, бригадир, сразу упечатают куда надо!

Пономарев наклонился, подвинул мешочки под стол.

— Можете идти домой, — сказал он женщинам. — Зерно ваше забираем в колхоз. Второй раз поймаю — пеняйте на себя. Выйдя из конторки, мать сказала:

— А Серега-то славный. Выручил нас. Анисья ничего не ответила.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Этим же вечером, когда совсем стемнело, к избе Чупиных подкатил ходочек. Высокий мужчина вылез из плетеного короба, постучал в дверь. Анисья вышла в сенки, прислушалась. Стук повторился.

— Кто там?

— Это я, открой, Оня, — ответил мужчина, и Анисья узнала голос Поднебесного. У Анисьи испуганно дрогнуло в груди.

— Да мы уже спим, — едва слышно вымолвила она.

— На одну минуту, Оня. По делу. Не бойся, не съем.

— Сейчас, только оденусь.

Через минуту Анисья открыла сенки. К ее ногам бригадир поставил один за другим два мешочка — те, что были отобраны Пономаревым.

— Получай свои крохи, — сказал Поднебесный.

— Пономарев, что ли, разрешил от-
дать?

— Кое-как упросил его, — ответил Сергея. — Он любит палки перегибать... На-
ломает дров, а потом одумается. Долго он не соглашался, да, видно, жалость в душе тоже есть.

Анисья вспомнила, как ругалась с Пономаревым там, в бригадной конторке, и пожалела о своих грубых, внезапно слетевших с языка словах: прав-то был все-таки Пономарев, а не она.

— Ну, хорошо, оставь, Сергей Григорич, — Анисья вспомнила о больном отце, о Мишке, который давно уже не видит ничего хлебного. — Спасибо. И Пономареву спасибо скажи.

— Какое «спасибо»! Он говорит: ладно, вези мешки, но я об этом знать ничего не знаю.

Поднебесный шагнул за порог, в сенки, встал черной тенью в проеме двери.

— Оня, ты меняпустишь?

— Нет.

— А если я... силой?

— Попробуй.

— Оня, я люблю тебя, — тихо сказал он после долгого молчания. — Ты слышишь, Оня?

— Уезжай сейчас же!

— Я люблю тебя, — повторил Поднебесный.

— Белены объелся, что ли, Сергей Григорич? Как можно! Уезжай, а то я вытол-
каю тебя за дверь, поленом выгоню! Как тебе не стыдно? Я ведь мужняя жена, чего ты в меня вцепился, как клещук?

— Нисколько не стыдно, Оня! Какой может быть стыд, когда места себе не нахожу.

— Наверно, все мужики так говорят бабам.

— Ты не веришь?

— А хоть бы и поверила — что из этого? Под двумя солнышками жить хочешь?

— Думаешь, мне баб не хватает, что я к тебе так липну! Солдаток нынче, сама знаешь, пруд пруди, а мужик я не бросовый — чего приbedнаться? — вешаются на шею, да не хочу.

— Не из таких вроде, — подковырнула Анисья. — Не из смиренных.

Это была правда: Поднебесный не умел да и не хотел укрощать, заглушать в себе страсть. С женщинами был он мягок, не навязывал им себя силой — те сами тянулись к нему. И было у него их немало. Особенно он ударился во все тяжкие в городе, куда переехал с семьей и где прожил пять лет. Только из-за его мотовства Лизка потянула мужа обратно в деревню: тут, как бабы говорят, не больно-то расшеперишься, потому что деревенский человек живет на виду у всех.

— Слово даю! — каким-то тревожным шепотом заговорил он. — Как приехал с фронта — ни на кого смотреть не хочу, одна ты, Оня, постоянно в глазах стоишь. Веришь? Лизка опостылела, домой неохота являться, на бригаде сплю...

— Что ты передо мной душу выворачиваешь, Сергей Григорич? Я тебе никаких задатков не давала, платочков не дарила. Разве что улыбнусь когда, так я всем улыбаюсь, такой характер.

— Сам не знаю, как это получилось... Сперва-то вроде о меня нарочно началось, для озорства. Не сразу ты мне приболела. Думал: ах, хороша Анисья, не мешало бы ей голову заморочить... Для счету вроде бы... А потом все о тебе да о тебе начал думать. Изловлю себя на этих мыслях, изругаю, прогнать хочу их — а они снова в башку лезут...

Поднебесный был искренен — он действительно испытывал сильное чувство к Анисье, не мог от него избавиться, оно и радовало, и мучило его. Только теперь он понял, что все, что было у него с женщинами до сих пор, — было пустое, легкое, почти не коснувшееся сердца. А есть на свете, оказывается, совсем, совсем другое... Почему оно не пришло к нему раньше, когда он не был связан семьей, это сладкое и горькое мученье?

— Напрасно ты про меня все время ду-

маешь, Сергей Григорич, — сказала Анисья. — Лучше о дочке своей да о бригаде думай. Да и женушку не забывай. Она, поди, что-то замечает за тобой? Вон какая востроглазая, — Анисья улыбнулась, и он даже во тьме увидел ее насмешливую улыбку. Да, Лизку все не любили!

— Ну, нет, у меня ничего не узнаешь, могила. Я скрытный. Что же мне делать, Оня, скажи?

— Выбросить все из головы! Ошибся ты адресом.

— Из головы не выбросить того, кто в сердце вьелся. Уедем в город, Оня... Я нигде не пропаду и в войну, я мастер на все руки...

— Оно и видать, — съязвила Анисья.

— Ну, у тебя язычок...

— Совсем ты свихнулся, Сергей Григорич! Уходи, ради бога. Это последнее мое слово.

Поднебесный долго молчал. Наконец упавшим голосом произнес:

— Но ты подумай, Оня... Не сразу такие дела решаются. Подумай, я подожду.

— А чего думать? Семь лет мак не родился — и голоду не было. И пусть еще не

родится столько же, — засмеялась Анисья.

— Нет, ты все-таки подумай. Неужели у тебя ко мне никакой жалости нет?

— Чего ты привязался?! — повысила голос Анисья. — Ты хочешь, чтобы я тут хвостом вертела, когда муж мой воюет? Да не будет этого! Никогда не будет! Легче головой в омут, чем до такого дойти!

Поднебесный повернулся и, сильно пригнувшись, припадая на ногу, пошел к своему коню. Анисья слушала, как он, отыхиваясь, садится в коробок.

— Вот что, — заговорил бригадир, — завтра поедешь на быках хлеб отгружать. Мешки с зерном таскать будешь. Пару быков получишь... Цоб-цобэ.

Анисья молчала.

— Ну, что, довольна? — спросил Сергея.

— Не пугай. Никакой работы не боюсь.

Он тронул лошадь и выехал на дорогу. Анисья постояла у двери, провожая ходочек глазами. И невольная улыбка, возникшая от чувства собственного спокойствия, а может, от легкого ликования сердца, чуть-чуть шевельнула ее жесткие, обветренные губы.



Родился в 1930 году в городе Чите. В 1937 году переехал с семьей в Барнаул. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Поехал на Крайний Север. Работал в Магадане в газете и на радио, заведовал на Чукотке красной ярангой. С 1962 года, после окончания Высших литературных курсов, В. Сергеев снова живет в Барнауле. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Новый мир». Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей СССР.

Владимир СЕРГЕЕВ

КАРДИОГРАММА

(ПОЭМА)*

Сердце-сердце

Сердце-сердце, шальное, больное,
ну как же ты, что же ты!..
Разве годы,
 месяцы,
 дни
 уже окончательно прожиты!
Разве силы
 уже безвозвратно
 растрачены!
И совсем не во сне —
 наяву
 я лежу,
 предсмертным страхом
 охваченный!
Сердце-сердце,
 и раньше такое случалось —
Ты в отчаяньи, в страхе
 о клетку грудную стучалось,
Ты надеялось смело
 на чью-то всегдашнюю
 щедрую милость —
И пока, как ни странно,
 все обходилось.
А нынче — очутилось вдруг

Под острием ножа,
И ночью побежал мой друг
По всем по этажам,
И где-то, наконец, нашел —
И в сжатом кулаке
Принес мне горький корвалол
В початом пузырьке.
Глаза мне страшно закрывать
Пред мутной пеленой,
А подо мной уж не кровать —
Носилки подо мной...

Восьмой этаж.
Как сердце редко
Стучится, кровь с трудом гоня,
Как давит лестничная клетка
Со всех шести сторон меня...

Шестой,
А сил у них — не очень.
Да и сноровка не ахти.
А вдруг у них не хватит мочи
Меня к машине донести!..
А если там, у них в больнице,
Сильней сгустится эта тьма,
Не хватит чьих-то сил, ума,
И чья-то совесть притупится,
И чья-то воля сдаст!..

* Журнальный вариант.

Четвертый.

Лежу, бессильно распростертый...
А если над тобой, страдальцем,
Свершится вдруг последний суд!!
Я вижу: побелели пальцы
У рук, что вниз меня несут,
И нервно вздрагивают...

Третий.

Пространство давит, как гора...
А если есть на белом свете
Закон всемирного добра:
Нароком или ненароком,
Намеренно или невзначай,
В недавнем времени, в далеком,
Что добыл — то и получай!..
Нет! Нет!
В клубок сплелись все нервы,
И тьма, и свет передо мной,
И даже сил лежать нет.

Первый

Этаж.

И выход в мир иной...

Неужто навовсе я вышел из строя —
Лежу и не вешу как будто ни грамма.
Высокий пустой кабинет. Врач с сестрою
Снимают электрокардиограмму.
Смотрю я на ровненький, тоненький стержень —
То вверх, то вниз, то чаще, то реже,
А доктор пытается разобраться
И хмурит внимательный взгляд деловито,
Как будто действительно можно добраться
До тайны, которая в сердце сокрыта.
Случалось, оно и по-заячьи билось,
Случалось, стучало открыто, по-русски.
Чего же теперь оно в жизни добилось!
Какие легли на него перегрузки!
Быть может, оно про свой долг позабыло!
И выполненной считает программу!..
Я вспомню теперь обо всем, что с ним было
И сам расшифрую кардиограмму...

Чукотская пурга

Устали ноги, руки, плечи,
Дышать уж скоро будет нечем,
Идем вдвоем пурге навстречу,
Прорвать завесу эту силясь.
Одежда облелила глухо,
Во рту неимоверно сухо,
И Рультикай кричит мне в ухо:
— Мы, кажется, с дороги сбились!..

Ложусь на холмике отлогом.
— Ступай, я отдохну немного...

Но он «Не смей!» кричит мне строго,
Нависнув надо мной упрямо.
Иду под грузом многотонным —
Помочь не сможет здесь никто нам —
И выдыхаю хриплым стоном
Всего одно лишь:
— Мама, мама...

Не помутнение рассудка.
Я все соображаю чутко:
Мой зов, придя к ней громко, жутко,
Полжизни, может быть, отнимет.
Но выхода иного нету,
И крик свой через всю планету
Я в круговерть бросаю эту
Уже губами лишь одними.

А вьюга пышет зноем белым,
И дикарем осатанелым
Каленые швыряет стрелы
И огненные бумеранги...
Но мать услышала мой голос —
Не упадет с меня и волос —
Пространство тут же раскололось,
И впереди — очаж яранги!..

Такое сердцем сохранится...
Кухляника потом вся лоснится,
И заполняет сон глазницы,
И воздух ртом ловлю, как рыба...
То обстоятельства, то время,
То занят мыслями не теми,
И наконец теперь, в поэме,
Я маме говорю: спасибо...

Четвертый угол

Сколько можно ждать, печалясь,
Жить в тисках, на тормозах...
Наконец-то повстречались
Мне те самые глаза.
Все открыли и познали,
Отчего печаль-тоска,
И к себе меня позвали,
Чтоб уже не отпускать.
Разум против: ты ж не школьник,
У нее же ведь супруг,
Что такое треугольник,
Ты же помнишь, милый друг...
Образумься, будет хуже...
Взбунтовалось сердце враз:
Никакого нету мужа
Вот у этих самых глаз!
И пускай беду пророчит
Хоть господь, хоть сатана —
Сердце бьется, сердце хочет
Получить свое сполна...
Мы одни с ней в целом мире.

Посторонних цепких глаз
И соседей по квартире
Просто не было для нас.
Нам бы шапку-невидимку,
Мы ходили бы вдвоем
С поцелуями в обнимку.
Что ж, без шапки проживем.
В том-то и была ошибка.
Скоро грянула гроза —
Мы кому-то, видно, шибко
Намозолили глаза...
Люди-люди, не вините —
Чтобы кончилось добром,
Эти тоненькие нити
Не рубите топором.
Мы всю правду сами скажем,
Мы уж как-нибудь вдвоем
То, что нужно, крепче свяжем,
Что не нужно — разорвем...
Но бумагу к ней на службу
Шлют безвестные «друзья»:
Дескать, рушится семья,
Дескать, разобраться нужно...
Были б мы чуть-чуть умнее
Или малость побойчей —
Урезонить бы сумели
Тех досужих ловкачей,
Чтобы сбить у них охотку
К удовольствиям таким...
Потащило нашу лодку
По порогам по крутым...

...А я подглядывал в окно
Сквозь деревянную решетку.
Все было как в немом кино —
Безостановочно и четко.
Она сидела, чуть жива,
Все в той же кофточке в обтяжку
И в узкой юбочке...
Сперва...
«Друг обидий» зачитал бумажку.
Он был высок, солиден, сед.
Ему кивнули дружно лбами.
Потом явился мой сосед
И долго шевелил губами.
Потом губами шевелил
Какой-то незнакомый дядя.
Она же из последних сил
Держалась, в пол недвижно глядя.
И кто-то слово брал еще...
Смотрел я. Сердце тихо сжалось.
Кино немое продолжалось.
Вход посторонним воспрещен...

...Мы одни на белом свете
И совсем один я сам.
Хлещет стылый белый ветер
По щекам и по глазам,
Тонко воет, лихо свищет,

Не подвластный никому...
И глядят ее глазищи
Мимо глаз моих во тьму...
По тебе, любовь и нега,
По тебе, моя краса,
Прокатилась телега,
Все четыре колеса.
Нам бы шапку-невидимку
Да куда-нибудь в село,
И тогда бы анонимку,
Может, мимо пронесло,
И тогда б тому листочку
Нас догнать не удалось...
Но попал он прямо в точку,
Прямо в яблочко, насквозь...
Стынет ветер, тихо воя,
Ночь декабрьская темна
Ах ты, сердце ретивое,
Получай свое сполна!..

Диагноз

...И сердце наконец дошло до ручки
От тревожений, сшибок, неудач.
Плывут по длинной ленте закорючки,
Их пристально рассматривает врач.
Наполнилась копилочка толково —
Бедь сыпались не только лишь гроши:
Кто пятачок, а кто и на целковый
Расщедрится по-свойски, от души.
Страдал я, может, больше всех на свете,
И не всегда с романтикой вдвоем —
Сменялся затхлой прелью грозный ветер,
А парус обернуться мог тряпьем.
Страдал бездарно, глупо, некрасиво —
Не для стихов, сложившихся потом,
Не для сочувствий ласковых — спасибо,
Что мало кто успел узнать о том...
И все же пусть не пасынка, а сына
Земная жизнь увидит пред собой.
Теперь в права вступает медицина —
Так, может, рано нам давать отбой!..

Дядя Вася

Взор открыт и ясен,
Сам еще не стар —
Добрый дядя Вася,
Первый санитар.
Он без фальши ласков,
Делает, что просят,
Возит на колясках,
На носилках носит.
Подбодрить ли словом,
Иль костыль подправить —
Ко всему готовый,
Все ему по нраву.

Скажет дядя Вася:
— Ну-ка, дядя Вова,
Живо собирайся —
Вон такси готово.
И не вешай носа —
Выглядишь недурно...
В кресле на колесах
Еду в процедурный.
— Тут иной раз может
Всякое случиться —
Как-никак, а все же,
Видишь сам — больница...
Но бывает: вроде
Вовсе не жилец,
А домой выходит —
Во! Хоть под венец...
И тебе невесту
Мы отыщем вскоре,
Хоть оно, известно,
Мать их в душу — хвори!
Только ты, брат, должен
Наплевать на них,
Ну, а мы поможем,
Так-то вот, жених...
Новенькие скаты,
И обзор прекрасный,
И дорога — скатерть,
И водитель классный,
Только все же, братцы,
Боже упаси
В жизни вам кататься
На таком такси.

Тетя Шура

— Мы говорим: жить все трудней,
И жалуемся, плачем,
И охаем, а ведь, ей-ей,
На деле-то иначе.
Возьми, к примеру, хоть меня.
Мы жили все в бараке —
И теснота, и колготня,
И выпивки, и драки,
Особенно с получкой.
Ютились в комнате одной
Я, мой старик и сын с женой,
Потом и внучек с внучкой.
А спали — чуть ли не клубком...
Теперь живем со стариком
В своей квартире собственной
Со всякими удобствами.
И сын живет семьей своей,
Не слезить бы, с достатком...
А уж тогда ему и ей
Ох было как не сладко...
Ну, помогали, как могли,
Хотишь иль не хотишь.
Теперь внучата подросли,

Приедут — угостишь
И сунешь на дорожку
Рублевку или трешку...
А мой-то в рот всю жизнь ни-ни,
А после новоселья,
Как только зажили одни, —
Вдруг пристрастился к зелью.
Придет, бывало, и кураж
Начнет чуть не на весь этаж.
Терпела, плакала молчком.
Потом уж догадалась.
И раз однажды вечером
Любезного дождалась.
Он было за свои дела,
А я с ним в перестрелку:
Смахнул стакан он со стола —
А я об пол тарелку,
Он блюдец об коленку —
А я графин об стенку!
— Да ты никак навеселе,
Ты что ж это, чертовка!.. —
Взглянул и обмер: на столе —
Початая «Перцовка»...
— А ты как думал, лиходеи!
— Да постыдись ты хоть людей!..
— Замолкни, безобразник!
Теперь настал и мой черед!..
С тех пор ни капли не берет,
Ну разве что на праздник...
А время — прямо мчит внамет.
Мои не те уж годы.
Работа! Ясно, что не мед,
А не сравнишь с заводом,
Особенно в войну... Дела —
И день и ночь пласталась,
Еще и донором была.
Тогда ведь всем досталось.
А сердце? Что ж, бог проносил.
А иногда как схватит —
Добраться бы хватило сил
До стула, до кровати.
Таблеточка всегда при мне,
Найдется и водичка.
Пристроюсь тихо в стороне
И отдышусь. Привычка...
Другим-то здесь побольше бед...
Да что я заболталась —
Домыть еще вон кабинет
И лестницу осталось...

Чай с медом

Дела идут почти что хорошо.
По крайней мере, стал уже ходить я.
С соседом по палате приглашен
Я лечащим врачом на чаепитье.
Поставив банку с медом предо мной,
Врач улынулась:

— Сладко и съедобно.
Принес недавно бывший мой больной.
Отказываться было неудобно...
Мы в трапезу включаемся охотно,
Как будто бы ничем не отягченные,
И тешимся легко и беззаботно
Беседую на темы отвлеченные...

И где мы — почти позабыли уже.
Но вдруг в кабинет вбегают сестра,
В глазах ее неподдельный страх:
— Там женщина!.. На втором этаже!..
— Сейчас приду... — отвела свой взор,
Сухарик тоненький переломила
И, не моргнув, улыбаясь мило,
Продолжила прерванный разговор.
И мед блестел на ее устах.
Тут снова сестра вбежала.
Врач сморщилась:
— Подождите...
Я встал.
— Спасибо... Пойду, пожалуй...

Хотел обложить ее круто,
Да ладно — какого рожна...
А где-то когда-то кому-то
Была твоя помощь нужна...
А помыслы наши все выше,
Чем ближе мы к дебрям седин...
Ты помнишь — прочел твои вирши
Безвестный читатель один.
Натурою был он философ,
А юною кровью — бунтарь.
На тьму его жгучих вопросов
Не сможет ответить букварь.
Как друг самый верный и близкий
В письме он открылся тебе.
Ты знал: не поможешь отпиской
Его беспокойной судьбе.
Он так в твоём слове нуждался,
Чтоб выкроил ты хоть бы час,
Но так ничего не дождался.
И что с этим парнем сейчас!..
А память все скачет погоней —
Душа и поныне болит...
А помнишь, как ехал в вагоне
С тобой фронтовик — инвалид.
Его развалюха ветшает,
И стены и крыша — гнилье,
Который уж год обещает.
Ему председатель жильё.
— Лишь охи одни и советы...
Да сам я их дам хоть кому!..
И ты обещал от газеты
Приехать в деревню к нему.
Куда уж верней и душевней
Дорожный был тот разговор,
Да только к нему в ту деревню
Ты едешь, браток, до сих пор.
Не стоят сопливого чиха
Порою иные слова.

Тебя возмутила врачиха.
Конечно, она не права.
Но чтоб хоть какая-то радость
Была от житья твоего,
Запомни-ка запах и сладость
Дареного меда того.

Женщина плачет

Плачет! Только разве это плач —
Молодая женщина рыдает,
Словно здесь невидимый палач
На глазах у всех ее пыкает.
Не грабеж жестокий, не разбой.
Глядя пред собой вслепую, прямо,
Женщина с отчаянной мольбой
Плачет криком: мама, мама, мама!..
Для нее забыты все слова,
Но и так до жути все понятно:
Мама, я не верю — ты жива!
Мама, слышишь! Воротись обратно!
Мама, ненаглядная, прости!
О тебе заботилась я мало,
Я же ведь могла тебя спасти,
Если бы я это понимала!
Мама, мы не пустим к нам беду —
Я продам последнюю обновку,
Все начальство наше обойду
И достану для тебя путевку!..
Мама, ты мне отдавала жизнь,
Разрывалась в хлопотах на части,
Мама, все изменится, вернись!
Это бы такое было счастье.
[Как и чем помочь, не представляя,
Замер я, застигнутый открытием:
Если вдруг та самая больная —
За вчерашним нашим чаепитьем!!]
Жуткая, немислимая драма
И не отвратишь мольбою слезной.
Дочь рыдает: мама, мама, мама!..
Только поздно, поздно, поздно, поздно!..

Каково другим

А помнишь цех литейный —
Удушливый настой
С жарницею смертельной
И копотью густой.
И если на минутку
Туда проляжет путь —
И то бывало жутко
В то печло заглянуть.
Но там не автоматы —
Там вкалывают люди,
Все эти ароматы
Вдыхая полной грудью.
Лентяям, белоручкам,

Коптящим белый свет,
Дельцам благополучным —
Здесь просто места нет.
У здешнего народа,
Как на передовой,
Железная порода,
Характер боевой.
Дух прочности, закала
Берут из недр живых —
Они ли у металла,
Или металл у них...

Времени описывать не хватит
Трудные и судьбы и дела...
Помнишь, приютили тебя в хате,
Где доярка старая жила.
Помнишь, как пришла она устало
И стонала за стеной всю ночь —
Ревматизм скрутил ее суставы,
И ничем нельзя было помочь.
— Сбегаю за фельдшером!
— Не надо,
Потерплю, невелика беда...
Утром снова собиралась к стаду,
Тихо и привычно, как всегда.
Меж других в открытый кузов села.
— Все! — спросил шофер. — Тогда помчим!..
И на голове платочек белый
Был от прочих мало отличим...

А помнишь старого актера
За час до нового спектакля —
Уже во время разговора,
Казалось, силы в нем иссякли!
Рассказывая хрипловато,
Как по ночам ему не спится,
Он щурился подслеповато
И тер ладонью поясницу.
А через час — в ином обличье:
Он взглядом молнии метал,
А в жестах сила и величье,
И голос звонкий, как металл...

Помнишь, как спустившись
со скользкого пригорка,
Тыча в землю палочкой,
медленно ступая,
Чтоб не расплескалось
полное ведро,

Шла через дорогу женщина слепая...

Да, жизнь предъявляет права свои людям
И бесцеремонно обходится с ними.
И путь их к удаче и сложен и труден,
Попробуй дела их сравнить со своими —
И все твои битвы покажутся драчкой,
А все твои боли — всего лишь болячкой,
А если триумфы собрать твои скопом —
Их нужно разглядывать под микроскопом.
Всех болей людских не сочтешь и веки,
А груз испытаний — в тома не вместится,
Но не иссякают молочные реки,

И ширят разлив океаны пшеницы,
И тесно в эфире от песен крылатых,
И счастье сухим сохраняет свой порох...
Тревожно и тихо в больничных палатах,
Безлюдно в просторных, прямых коридорах.
Сосед в одну точку уставился хмуро,
И кто-то ругается шепотом громким,
А кто-то там бредит...
А там тетя Шура,
Схватившись за сердце, присела в сторонке...

Вечный бой

И вот уж болезнь отступает,
Глубокое зло затая,
И вот уже в силу вступает
Окрепшая воля моя.
Не зря перед самою смертью,
Блокируя адскую брешь,
Наука бессонная чертит
Свой самый последний рубеж.
В бою как в бою — раздается
Не слышная миру пальба,
И кровь человека там льется,
И жизни уносит борьба.
Не будет победы конечной —
Пусть знает об этом любой,
А будет всю жизнь бесконечный
И самый решительный бой...

Выписываюсь

Вот и все. Теперь не нужно
Ни сестер, ни докторов,
Ни вливаний...
Да неужто
В самом деле я здоров!!
Чье-то ласковое слово,
Чья-то дерзостная мысль,
Чья-то воля — силой новой
В кровь и в плоть мою влились.
Благодарность шепчут губы:
Люди, мир-то как хорош —
Вам спасибо!..
Только шубы
Из «спасиба» не сошьешь.
Люди-люди, все святое
Пусть отныне попадам —
Теплотою, добротою,
Всем, чего я в жизни стою,
Я скажу спасибо вам...
В настроении преотличном,
Я в цивиличном, не в больничном.
И пиджак мне давит плечи,
Будто сроду не носил.
Вот и выход.
А навстречу —
Дяди-Васино такси.

Восседа в той коляске,
Буйным хмелем разогрет,
Голубые жмурит глазки
Девяностолетний дед.
Он хлебнуть большой любитель —
У столба лежал. Беда!
Не тащить же в вырезвитель —
Привезли его сюда.
Дед в обиде на житуху:
Схоронил свою старуху,
Молодуху подыскал,
А потом хватило духу
Пережить и молодуху,
И теперь берет тоска...
— До свиданья, дядя Вася!
Вот таким и оставайся...
— Что ж, добро... Счастливым путь!..
— Я на днях к тебе заеду.
Будь здоров!
Невесту деду
Подыскать не позабуду!..

Улица Горького

День обычный меж другими сутками
Встал передо мною на виду.
В нескончаемой столичной сутолке
Улицею Горького иду.
Как любая истая красавица,
Духом и обличем горда.
Что-то постоянно в ней меняется,
Что-то неизменно навсегда.
Пусть простят проспекты ленинградские
Прямоту излишнюю мою:
Самые высокие и братские
Свои чувства ей я отдаю.
Как любил во времена студенчества
Приезжать сюда на торжества,
Чтобы первомайское отечество
Помогла почувствовать Москва,
Чтоб не только травы и березоньки
Бесконечно дорогой земли —
Чтобы кровью добытые лозунги
В сердце и в судьбу мою вошли.
Потому-то в жизненном кружении
Даже и околица села
Для меня надежным продолжением
Этой главной улицы была.
И око — со мной хоть на мгновение
В праздничной веселой кутерьме —
В Новгороде, в Бухте Провидения,
И на Волге, и на Колыме...
День обыкновенный, даже сумрачный,
Погружен в рабочую страду.
Я тихонько
Деловую, будничной
Улицею Горького иду.

Встал в стороне, оттесненный толпою,
Дух перевел продолжительным вздохом...

Вдруг предо мною лицо пожилое,
Взгляд напряженно тревожный:
— Вам плохо!..
Будто со мной в самом деле несчастье —
Столько волнения, почти что испуга...
Это не вежливость — это участие,
Это глаза безымянного друга,
Это готовность в любую минуту
Встать, оградить от худого и горького.
«Плохо!» — молчу я в ответ почему-то..
Вот ты какая, улица Горького...
Можешь не только лишь в громкие даты
Быть просветленною и благородною.
Как было сказано славно когда-то:
Золото, золото сердце народное!..
Кто-то безвестный ко мне подошел,
Не помешала ему суматоха —
Глянул в глаза мне с тревогой:
— Вам плохо!..
— Нет, мне не плохо — мне хорошо...

Южная ночь

Сгустился ночной аромат над террасой.
Я свет выключаю, но мне не темно.
Я вижу, как спутник плывет своей трассой,
Как в тонком бокале играет вино.
Душа отдыхает, блаженствует тело,
И сердце ударами грудь не дробит.
Все в полном порядке. И что мне за дело
До чьих-то волнений, невзгод и обид...
Неужто же только когда лишь приспичит,
Встает человек, моментально прозрев, —
Взывает к рассудку, друзей своих кличет,
Прочь гонит покой и дерется, как лев!..
А может, теперь, когда сброшено бремя
Смертельной тоски и забот никаких, —
Подумать воистину самое время
О болях и нуждах — своих и людских.
О том, чтоб спокойней и радостней стало
Всем, кто тебе близок и просто знаком,
О том, чтобы делом всегда прорастало
Добро, что заложено в сердце людском.
И чтобы стране твоей, в битвах рожденной,
Что рушит, спасая, и строит, любя,
Не быть никогда и никем побежденной, —
И все это требует сил от тебя.
И на душу столько вопросов ложится!
А жизнь-то — одна, а не две и не три.
Сумей-ка в отпущенный срок уложиться...
Но это же здорово, черт побери,
Что нету конца ни делам, ни заботам,
Что можно в мгновенье вместить целый век.
Отстаивай нервами, кровью и потом
Призвание и звание свое, человек...
Как путь твой нехоженный крут и неровен,
Как тяжесть земная влечет под уклон,
Но в мир этот вышли Толстой и Бетховен,
И вырвался в небо «Союз»-«Аполлон».

Всю землю своими руками обшарить,
Сбжить по-хозяйски иные миры,
Лишь только бы этот вертящийся шарик
С разлету не сверзнулся в тар-тарары.
Чтоб сверхгениальные супермашины
Весь мир не сгубили в огне и в крови,
Ты должен подняться успеть на вершины
Всемирного братства, великой любви,
Чтоб стать человеком во всем и везде
И встретить рассвет на далекой звезде...
И — дальше!
Навстречу грядущему маю —
Свободный, крылатый, во весь свой накал!..
Ночь. Море. И звезды.
И я поднимаю
В звенящем безмолвии — полный бокал...

„Вижу зеленый!“

Ровно мелькают столбы за окном,
Плавно в пространство врезается поезд,
Ночь незаметно сменяется днем,
И часовой обновляется пояс.
Путь многодневный то ясен, то мглист.
Бег не замедлит состав-полуночник —
Трудную вахту несет машинист,
Рядом его неотлучный помощник.
Оба в стекло ветровое глядят —
Путь этот сложный не будет опасным,
Оба внимательно, чутко следят,
Чтобы с сигналом не встретиться красным.
Четко зеленая точка горит,
Мощная скорость ее приближает.
— Вижу зеленый, — один говорит.
— Вижу зеленый, — другой подтверждает.
Сколько народа привычным трудом
Оберегает покой мой вагонный —
Утром и вечером, ночью и днем:
— Вижу зеленый.
— Вижу зеленый...
Кто-то у пульта стоит до утра,
Льет по опокам металл раскаленный
И выдает уголек на-гора —
Вижу зеленый,
Вижу зеленый.
Кто-то склоняется над чертежом,
Кто-то в тиши, седной убоженный,
В долгие думы свои погружен —
Вижу зеленый,
Вижу зеленый...
«Вижу зеленый»,
«Вижу зеленый» —

Общим паролем
мчит над странною.
В век наш двадцатый,
вдаль устремленный,
Связаны все
мы ношей одною.
Кто-то тихонько
сдружится с ленью
Или на подлость
тайно решится —
Груз тот незримо
в то же мгновенье
Камнем на чье-то
сердце ложится.
Кто-то возьмется
резко и круто
И напружинит
честные плечи —
Значит, кому-то
с этой минуты
Будет дышаться
проще и легче...
Тянутся к небу,
в окнах мелькая,
Сосны и кедры,
березки и клены.
Даль-то какал,
ширь-то какая!
Вижу зеленый,
Вижу зеленый!
Музыка скорости,
музыка света,
Музыка ветра
властвует слитно,
Сердце, врывайся
в царство вот это
И не сбивайся
с общего ритма,
И не сдавайся
хворям живучим,
Прочь отгоня
боль и тревогу, —
Если захочешь —
время научит,
Совесь подскажет,
люди помогут...
Нет, не хочу я
долю иную.
В мир этот трудный
сердцем влюбленный,
Что б ни случилось,
если живу я —
Вижу зеленый!
Вижу зеленый!

Виктор СЛИПЕНЧУК

Я ЗНАЮ: ГОРОД БУДЕТ

С начальником четвертой мастерской института Алтайгражданпроект Борисом Антоновичем Моейкинским я встретился в конце рабочего дня.

— Длинные телефонные гудки? Ничего удивительного, был на совещании в главке, как раз шел разговор о Заринске. Запомните эту цифру: в 1978 году на строительстве Коксохима будет работать около восьми тысяч рабочих. Общее население городка через два года более чем удвоится. Так что строить и строить — вот наша главная задача.

— Что вы можете сказать о настоящем города Заринска?

— Заринск еще не город, в нем пока шесть тысяч жителей. Конечно, в будущем это город, и его лицо нам известно, а вот настоящее...

Старший архитектор проекта города Заринска Надежда Олюнина закончила в 1974 году Новосибирский инженерно-строительный институт и сразу, так совпало, приступила к проектированию второго, самого большого, микрорайона Заринска. Надя волнуется, ей хочется показать макет района, но он на краевой ВДНХ.

— Вот фотографии. Во втором микрорайоне разместится 15 тысяч горожан. Пять девятиэтажных общежитий, столовая на 530 мест, спортзал. В районе всего три пятиэтажных дома, остальные девяти-двенадцатиэтажные. Проект почти готов, осталось закончить цветное решение.

Из стопочки фотографий Надя выбирает самую большую.

— Основное, на что меня ориентировали на совете архитекторов, — чтобы населению города жилось красиво, уютно, удобно. Смотрите, проспект Строителей первого микрорайона продолжится и в нашем. На него вынесены широкоформатный кинотеатр, музыкальная школа, узел связи. А вот здание профтехучилища удачно вписалось в комплекс общежитий.

Надя не скрывает радости: проект второго микрорайона — ее творческая удача.

Дом, в котором я живу, — под номером 25. Он золотистого цвета, с него начинаются первый микрорайон и главная магистраль города — проспект Строителей. Из окна комнаты видны крыши станционного поселка, они внизу, до самого крыши элеватора ничто не задерживает взгляд. Зимой казалось, что живу в деревне. Врывающиеся в комнату крики петухов, лай собак, протяжное мычание коров усиливали это впечатление. В мае все изменилось. Рокот

бульдозеров и тяжелых землеройных машин как бы отодвинул деревню. Рядом закладывается фундамент нового дома. Я вижу из окна, как подъезжают самосвалы, краны, снуют рабочие. С некоторыми из них я знаком.

НИКОЛАЙ ШАДУРА — монтажник из бригады Михаила Брыкова, СУ-38. Ему тридцать лет, художав, жилист. Походка упругая, цепкая — высотник! Чуб выбивается из-под вязаной шапочки, глаза смеются. Он работает весело, с какой-то матросской удалю. Послушать его тоже интересно. Николай приехал на Коксохим в 1972 году в числе первых комсомольцев. За ударный труд награжден значком ЦК ВЛКСМ, почетными грамотами краевого, районного комитетов комсомола.

— Вон за школой угловой дом, — показывает Николай. — Это мой первый дом здесь. И вообще первый дом, с него начался город... Не верится!

Николай засмеялся.

— Вот на этом самом месте, где мы стоим, раньше были скотные дворы. С переезда глянешь — лебеда в человеческий рост. На стену дома поднимешься, особенно утром, — туман, коровы мычат, доярки покрикивают. Оглядишься, вправду ли будет город? А теперь, через четыре года!..

Николай опять засмеялся. У него всегда так: вспомнит что-нибудь забавное, обязательно засмеется, главное, не перебивать его.

— Полтора года назад говорю батя (он у меня в Баево живет): «Приезжай, с вокзала выйдешь — четыре дома на тебя смотреть будут, а один торцом, в нем я и живу. Да любого спросишь: где Николай Шадура — покажут».

Через год является. Часов в десять звонок, открываю — батя. Я к нему, а он как давай распекавать. «Ты что над стариком-то... Мыслимо ли обойти... Какой дом торцом? Где он?»

Жена вступилась: «Папа, это же за год все построили — темпы!» А я и сам порой не верю — голым степь была...

Я с Николаем сдружился после одного происшествия. Прилаживали к колонне десятиметровую металлическую лестницу. Кругом снег, фундаменты заметены, ставить ногу приходилось на ошупь. Кто-то оступился, лестница сорвалась с колонны, все враспынную, я не успел — не сообразил. Подкинуло меня. Как чижик перекувырнулся в воздухе и — в сугроб. На спину упал, чуть ниже подборка, рядом с шеей, арматурина прошла. Я этого, конечно,

не заметил, забарахтался в снегу, ко мне подсказывают ребята, выдернули из сугроба, а лица у всех белые, как мел. Испугались — арматурина в заблуждение ввела. Позже мне и самому как-то нехорошо стало. Тогда-то Николай и рассказал, как он стал почетным донором РСФСР.

— Монтировали мы банки для завода железобетонных изделий... Да вон они, на эlevator похожи... Бригадир сказал: «Пока не закончим, твое место, Николай, там». Залез, метров тридцать было. Внизу переплетения металлические, наши субподрядчики — Стальконструкция — рядом монтаж вели. Залез, примостился на швеллер, ишу, за что бы монтажным поясом закрепиться поудобней, а кран уже подает плиту. Подавать неловко: банки круглые, крановщик норовит так, чтобы по шву, между банок скользила плита. Я глянул, все нормально, только потянулся крючком к металлической скобке — плита сорвалась, гак вверх, как ядро царь-пушки, пятьдесят килограммов. Об одну банку, о вторую, прямо у лица, насколько мог — прижался, вдавил себя в этот шов, а рук отпустить не могу, я-то не закрепился, не успел. Глянул вниз на металлические конструкции, а они сверкают на солнце, как пики. Закрыв глаза, а гак с таким скрежетом, аж до сердца достает, то об одну банку, то о другую, слышу, рядом маячит. Обошлось, не зацепил. Принял я несколько плит, слез. Вот так же, как у тебя, было нехорошо внутри, холодно, а потом отошло. Прибегает бригадир: «Медики приехали. Кто донор? Вызывают». Пришел к медикам, говорю: «Берите сколько можно, под самую завязку берите». Взяли четыреста граммов. Меня в пример всем ставили: «Вот Шадура, вот смелый!» Почему это, как ты думаешь?

ЮРИЙ КИКАС, ленинградец. На Алтай приехал двадцатипятилетним комсомольцем. Приехал в 1956 году по комсомольской путевке на стройку Бийского химзавода.

— Много тогда целинников ехало, — вспоминает Юрий Сергеевич. — Август. Всюду, куда ни глянешь, поля, поля, до самого горизонта волны переливающейся пшеницы. Так и вошло в сознание сразу и навсегда — Алтай хлебный и, конечно, песня: «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная...» В то время строительство химического завода тоже было своеобразной целиной, по крайней мере, на заводских вечеринках мы не хуже кулундинских целинников пели эту песню.

Юрий Сергеевич высок, подтянут, ему не дашь сорока четырех лет. Черты лица мелкие, как бы насыщены хитровой усмешкой. Юрий прост, со всеми в бригаде на «ты», и все же в общении мы чаще величаем его по отчеству.

В вагончик вошел Николай Шадура, озабочен, кинул верхонки на трубы батареи.

— Сергееч, на колоннах опять не там закладные.

— Во, прозорливость! — восклицает Юрий.

Лицо озарено, веселье брызжет из глаз. Еще неизвестно, о чем будет говорить Юрий, а все уже улыбаются в предчувствии юмора.

— До революции дело было. Посадили трех мужиков в застенок. Спустя время мужик рассказывает: «Посадили нас. День сидим, два сидим, хорошо, среди нас прозорливый нашелся, на третий день он — глядь, а стены-то одной нет, убегли!»

Взрыв смеха... Всеми овладевает веселое оживление, наконец Юрий замечает:

— Не жюришь, Коля, поставим металлический бидаж, и все будет, как в лучших домах...

Юрий Сергеевич работает монтажником пятнадц

ать лет. На Коксохим приехал в 1974 году. Главк перевел. Жена, Ольга Васильевна, тоже строитель, работает в плановом отделе треста. Наверное, Юрий мог бы найти себе на стройке работу более спокойную, менее рискованную, чем монтажник-высотник. Даже не пытался. Приехал и сразу в СУ-38, в бригаду Михаила Брыкова.

Как же, мы с Михаилом на Бийском химзаводе одиннадцать лет отработали вместе, у нас и учитель был один. Старчило Иван Константинович — бывший военный летчик. — Пауза. — Умер в 67-ом году.

Михаил Петрович кивает. Мы умолкаем. Тихо становится. Работа закончена, но на автобус никто не спешит, хочется послушать старших товарищей. Ведь глядя на них невольно думается: они всегда все умели.

Особенно внимателен Валера Панов, ему девятнадцать лет, он в бригаде недавно. Мы замечаем, как Сергеевич добровольно исподволь опекает Валерию, учит тонкостям мастерства и, точно отец, следит за каждым его шагом на высоте.

— Иван Константинович любил людей, — начинает рассказывать Юрий. — Мы, молодежь, роem вились вокруг него. Он обучал нас и металл резать, и монтажу. «...Юрка, куда полез?» Спустит и час, а то и все два гоняет по балке, по торцу плиты. На четвереньках гоняет, а балка-то и плита на земле стоят. Обидно, стыдно, а он еще и страшает: «Увижу еще раз... званья лишу». Монтажник-высотник — это у него вроде как особое звание было, высший чин строителя. «Ты должен танцевать на балке вприсядку, вот тебе экзамен, а уж потом на высоте себя показывай».

— Танцевали?

Валера Панов весь внимание.

— Еще как! Кто кого перепляшет... Победителю почет и уважение. Не хуже Николая Шадуры виртуозы были. Но ты, Валерка, всех перепляшешь, попомните мое слово. В девятнадцать лет отец двоих детей, ну не молодец, а?

Валерий смущается. Его хлопают по плечу, торчат. С шутками бригада бежит к автобусу. Валерий обгоняет, первым заскакивает в автобус, зовет:

— Юрий Сергеевич, сюда, место есть!

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ — в нашей бригаде и на всем Коксохиме фигура заметная. Председатель народного контроля, партгруппорг, член партийного бюро СУ, член Сорокинского РК КПСС, таким особым доверием строители наделяют не каждого. Об Александре много писали и в многотиражке «Строитель Коксохима», и в спецвыпуске «Алтайская правда на Коксохиме», и выступал он по телевидению и радио, и снимали его для кино, но все это в рекламном тоне какой-то исключительности Александра, так что сейчас он избегает корреспондентов. «Не могу, стыдно», — признался Александр.

«Почему стыдно? — мы делаем удивленные глаза. — В принципе-то все верно. Русоволосый, выше среднего, гибкий, как лоза, серьезный. На Коксохим приехал в 1974 году из города Иссык Алма-Атинской области, тебе 25 лет. Все совпадает».

Александр улыбается. В улыбке столько иронии и сожаления, что мы начинаем успокаивать: «Ну ладно, там про ветер романтики, жажду открытий неведомых островов, позвавших в путь, это же в переносном смысле, чтобы видно было, что такой человек, как ты, не может быть мещанином». — «Каким мещанином?! Я же сюда из армии!» —

«Так-то оно так, но ты приехал с женой, мать привез, бабушку, школьника брата — согласишься, это трудно объяснить?» Александр отмахивается: «Заводите?!»

Коксохим вошел в Сашину жизнь не через жанду неведомых островов. Все проще и необыкновеннее. Он ехал из армии, отслужил. Соседом по купе оказался фронтовик, инвалид Отечественной войны. Фронтовик занемог, отказали ноги, Саша взял его под свою опеку. Дочь фронтовика — Таисия, вчерашняя студентка медучилища, — встретив на вокзале отца, попавшего в беду, растерялась и, конечно же, в слезы. Теперь Саше нужно было думать и о ней, и он «приказал»: не отходи от отца. Так повествует Саша. Таисия, его жена, категорически возражает: «Приказал?! Да первое время я и голоса твоего не слышала, исчез, потом является, сообщает: позвонил домой, нас ждут. Позвонил! Дома-то и телефона не было. Сбежал в отделение связи, отбил молнию: еду женой, отцом, буду через час Саша».

Таисия, уроженка села Кытманово, рассказала Саше о стройке на станции Заринской, увлекла на Алтай. И вот уже мать Саши, брат, бабушка, жена и отец в поезде.

— Единственное, о чем я переживал тогда, — приняли бы на работу. Пятый разряд газосварщика — это высокая квалификация, но всякое бывает. Думал, если что... обращусь в военкомат, помогут.

Обращаться не пришлось, взяли в бригаду монтажников Михаила Брыкова. Первое время жили на квартире в Сорокино, потом больше года в вагончике, сейчас дали малосемейку. В феврале родилась дочь, Тая.

— Саша, говорят, ты мотоцикл купил?

Выходим на улицу, у подъезда мотоцикл. Из открытого окна окликают:

— Сашка, ты что ночуешь в гараже?

— А что?

— Когда квартиру нормальную получишь?

— Во втором микрорайоне обещают.

— Стыдно... тебе как члену райкома в первую очередь должны... малость о семье думать надо...

Александр покраснел. Взревел мотоцикл, заглушил ворчливый голос. Когда отъехали, Саша сказал:

— Соседка... как увидит, так воспитывает.

— Наверное, с квартирой тоже не все ладно?

— Нет, у них хорошо, на двоих — двухкомнатная.

Он это сказал безо всякой зависти, и мне вспомнился март. Усиленный ветром мороз был особенно жгуч на высоте. Мы приваривали к закладным колонн металлические столбики, тяжелые, широкие углы, на которые потом ставятся панели. Все неудобство было: столик приходилось держать над головой до тех пор, пока Александр не прихватит его сваркой. Последний столик замучил. Я никак не мог приспособиться, сварочный кругляк выпадал, и тогда я стал поддерживать его головой, рискуя получить за шиворот несколько раскаленных капель. Александру тоже было нелегко, руки заняты, и, чтобы опустить щиток на глаза, он тряс головой, как бы бодая колонну. Наконец он прихватил столик. Я поднял глаза. Александр смахивал с рукава мутнеющие розовые капли. Оберегая меня, он подставил свою руку.

ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ МАРЧЕНКОВ, бригадир плотников-бетонщиков СУ-39, приехал на Алтай по комсомольской путевке в 1953 году.

— Шестнадцать лет было, — вспоминает Эдуард Васильевич. — Сам я смоленский. Послали на курсы каменщиков, закончил. В числе первых направили на строительство химворода Благовещенского района.

Эдуард Васильевич говорит неторопливо, во всем его облике — спокойствие сильного и доброго человека.

— Такому, как я, надо рождаться стариком, а потом молодеть. Многих бы ошибок избежал: школу бы вовремя закончил, а главное, никто бы не упрекнул — скоро пятый десяток начнешь менять, а все колготишься, как молодой.

В глазах вспыхнули веселые огоньки.

— Глядишь, может, и сюда бы не приехал. У нас-то в химвороде квартира благоустроенная была, со всеми удобствами. А здесь что? Гостиница, домики-общежитие на станции Батунная.

Он засмеялся, пригладил ладонью черные, как смоль, волосы, и уже серьезно:

— Привык к молодежи. В начале семьдесят второго бригадиром каменщиков работал. Гляжу, что-то мои орлы скрывают от меня. Заикнутся: «На станции Заринская, под Барнаулом, новый город предполагается строить» — и в кусты. Понял, туда их тянет, а меня обидеть боится. Собрал всех, сказал: «Вот так: может, в чьем понимании я уже и старый, однако первым на Заринскую выпадает ехать мне. Опыта у меня малость побольше, пригляжусь. Ежели объявится нужда в вас — напишу, а нет, и не срывайтесь с места, попривыкаете летать — дел не будет».

К этому времени мы с женой строительный техникум закончили, она из учителей в строители пере-квалифицировалась. В общем, приехали, а через неделю вся моя бригада тут как тут, не дождалась письма, приехали. Первые домики здесь, на улице Энтузиастов, мы строили.

Начальник СУ-39 Валерий Иванович Парфенов, говоря о бригаде плотников-бетонщиков Марченкова, отметил: «Грамотные, крепкие ребята, за пять месяцев выполнили полугодовой план».

Самосвалы подходят к дороге один за другим, подвозят бетон, а Эдуард Васильевич жалуется:

— Горе с бетоном, закажешь сто кубов, получишь двадцать, вот только в субботу маленько и подбрасывают.

— Василич, — окликают из бригады. — Подходили пионеры, целая делегация, спрашивали: скоро бетонку закончим? У них постановление крайкома комсомола по благоустройству улиц. Говорят: мы озеленение задерживаем.

— Видал? — Эдуард Васильевич поворачивается ко мне. — Хуже нет строить город у всех на глазах. Сядешь перекурить, а из окон уже: «Что это вы все курите и курите!»

Но его улыбка красноречиво говорила: по душе ему и его бригаде оклики из окон, делегации пионеров, ждущих от строителей новых домов, новых улиц, нового города Заринска.

Когда Эдуард Васильевич вышел на бетонку, отдающую первый микрорайон от второго, я тоже невольно улыбнулся. На нем были забрызганные раствором комнатные туфли. Он шел из первого микрорайона во второй, как ходят из комнаты в комнату хозяева своего дома.

О ЮРИИ МИРЗАФАРОВИЧЕ КУЛИЕВЕ, о том, что вот есть такой на стройке Коксохима, я знал давно. В 1973 году поэт Николай Черкасов опубликовал репортаж с Коксохимстрой «У нас эпоха впереди». Там были строки:

«...Еще по сограм утром рано тумана стелется вуаль, но зорко башенные краны уже осматривают даль. Через гравийные приливы, через бетонный монолит ведет меня прораб Кулиев — бог стройки и невольный гид. Я говорю: «Минут пятнадцать мне удели, а там — иди». А он в ответ: «Чего бояться, у нас эпоха впереди».

И вот прошло три года. Для Заринска и для Кулиева срок немалый. Заринск поднялся, окреп, претендуя на звание города, а Кулиев из прораба участка вырос до начальника одного из самых больших строительных управлений треста, СУ-38.

Юрий Мирзафарович в семидесятом закончил наш политехнический, факультет промышленно-гражданского строительства. До семьдесят второго работал в Бийске, в 122-м тресте. Ему тридцать три, а на висках уже седина. Он стоит у окна в моей комнате, и я не могу освободиться от ощущения того, что не он у меня в гостях, а я у него.

— Видишь вагончики, вон те, что к рынку? От них до самого переезда ничего не было, пустырь. А там... — Юрий Мирзафарович махнул рукой в сторону строящихся корпусов больничного городка. — Скотные дворы стояли, летом лебеда в Человеческий рост. — Вздохнул. — Первые колышки забивали.

Поправил очки, взял со стола книжку, вслух прочел:

— Владислав Пахомович Сериков. — «Бригадный подряд на промышленной стройплощадке». — Помолчал. — Хорошая книжка, полезная. Только метод его у нас приживается с трудом... Почему?

Юрий Мирзафарович отложил книгу, сел.

— Вот был интересный случай. В конце семьдесят третьего года выбрали меня в Совет, назначили заместителем председателя Сорокинского райисполкома по капитальному строительству. Работа для меня новая, послали в Новосибирск на курсы. Выступал перед нами с лекцией директор Института цитологии и генетики товарищ Беляев. Сегодня с позиций генетики развитие органического мира объяснено более полно, нежели с позиций учения Чарльза Дарвина, истинным продолжателем которого явился Иван Владимирович Мичурин. Однажды, читая лекцию в одном из сельских клубов, Беляев сказал об этом. И что вы думаете, после к нему подошел один заслуженный старик и погрозил пальцем: «Ивана Владимировича не трогайте». Старик

воспринял как личную обиду мысль о том, что учению Мичурина требуется дополнение, дальнейшее развитие. Так вот и у нас с бригадным подрядом. Это новый метод, снизу доверху он требует от строителей полной самоотдачи. Ломает устоявшиеся формы взаимоотношений, а раз так, поднимаются заслуженные старики, из них есть много таких, которые моложе молодых, грозят пальцем: «Ивана Ивановича не трогайте». Тут вся сложность еще и в том, что я вот говорю, а, быть может, в чем-то я сам тот старик и не понимаю этого. Высокое самосознание — вот ключ к освоению бригадного подряда по методу Серикова.

— Юрий Мирзафарович, когда вы приехали на Коксохим, и вообще, как все это произошло?

— Произошло это так. В конце января 1972 года начальника СУ-18 нашего Бийского 122-го треста Василия Николаевича Божуро назначили начальником СМУ-31. Это на его базе организовался наш трест Алтайкоксохимстрой. Ничего не было, был Божуро, была печать СМУ-31, а больше никого и ничего. Откуда кадры брать? В главке ему сказали: «Бери отовсюду, всем строительным организациям приказали: тех, кто захочет пойти к Божуре, — отпустить». Но сами посудите, кому выгодно отпускать свои кадры. Одним словом, в начале февраля подсылает ко мне Василий Николаевич своего шофера. Назначает встречу в машине. Мы хотя и в одном тресте работали, но в разных управлениях. Говорит: «Приходи после работы, ко мне домой. Захвати с собой толковых ребят, грамотных линейщиков». Линейщиками мы называем ИТР, непосредственно работающих на объектах. Дал адрес. Собрались у него, я привел с собой еще двух. Он речь сказал о будущем городе, о первом заводе черной металлургии на Алтае. «Если хотите попробовать себя, если хотите помочь стране, пишите заявления». Мы там же сразу и написали.

Юрий Мирзафарович задумался, посерьезнел.

— Это сейчас сюда — комсомольские путевки, льготы. А тогда вызвали меня на партком и как давай, как давай!.. «Нет, видал, ему мало наших трудностей! Иди работай, как работал, и забудь о Коксохиме». До апреля все это шло, а в апреле всю материальную ответственность по договоренности нелегально сдал и безо всякого разрешения приехал. На Сорокинский райком только в июне мои документы пришли. Вот как все было вначале. А потом работа. Разве ее расскажешь?

Слушал я Кулиева и думал: «Вот она, живая цепочка людей, создающих будущий город. Нет никакого сомнения: это будет красивый город.

Ведь строили его красивые люди».

Василий ГРИШАЕВ

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬЮ ОТЗОВЕТСЯ

1

На 34-ом километре Чуйского тракта, в тени высоких, тесно стоящих тополей появляется серый дорожный столб с табличкой: «с. Сrostки».

И сразу примолкают разговоры в автобусе. Все повертываются к окнам и с нескрываемым любопытством разглядывают ничем не примечательные дома, тянущиеся вдоль тракта, редких прохожих на пыльной, залитой июньским солнцем улице, лобастых телят, пасущихся у обочины, скромный обелиск на взгорье, очевидно погибшим воинам.

— Это здесь родился Василий Шукшин? — спрашивает меня сосед, не старый еще, но, видимо, потрепанный жизнью мужик с обильной сединой в черных волосах и татуированным орлом на костлявой потной груди, выглядывающей из полурасстегнутой майтой рубашки-безрукавки.

— Да, здесь.

— Ишь ты... На обратном пути расшибусь — заеду. Да и ребята наказывали. А сейчас путевка, понимаешь, горит.

— Издалека едете?

— Из Архангельской области. Слышь, а музея тут никакого нету?

— Пока нет.

— Жаль.

Сrostки — большое село, раскинувшееся между Чуйским трактом и рекою Катунью. Основано оно сравнительно недавно, в 1864 году. Эту дату я видел в справочнике, изданном в 1928 году Сибкрайиздатом и хранящемся в Бийском краеведческом музее.

Добротные дома Сrostок, широкие, хорошо укатанные улицы, просторные черные огороды с зелеными строчками всходов производят на приезжего человека впечатление основательности, прочности жизни. Да, люди осели здесь крепко, осели навсегда. И недаром. Благодать кругом такая — поискать! Видно, понимали кое в чем те самые первые пришедшие из «России» поселенцы, которые когда-то остановились здесь, оглядели из-под руки окрестные поля и леса, красавицу реку, синевящие вдали горы, помяли в ладонях жирную землю и, перекрестясь, начали распрягать усталых коней.

В числе тех самых первых был и дед Василия Шукшина Сергей Федорович Попов...

И еще о Сrostках. Это очень красивое село. Но тот, кто не видел его с горы Пикет, пожалуй, не имеет понятия об этой красоте.

Пикет (сrostинцы называют ее «Бикет») — невысокая гора, возвышающаяся сразу за южной околицей села. На левом и правом ее скатах зеленеют

березовые гривы, середина же и вся вершина — пологие, ровные, без кустика. Лишь жесткая негустая травка растет. В траве полно кузнечиков. Они с шумом стрекотом так и пырсают из-под ног.

Уже с середины подъема, если оглянуться назад, глазам открывается изумительная по красоте пойма Катуня с зеркальными излучинами ее проток, сочно-зеленый массив талицкого беззняка, такой густой, что кажется, кинь на него мяч, он так и покатится поверху; светлый изумруд дальних полей с березовыми колками, далекий-далекий горизонт и сверху — высокое голубое небо с белыми гуртами облаков. Раздолье!.. А в середине всей этой красоты раскинулись Сrostки со своими домами, садами, огородами. Дома то гуще, то реже, то выстраиваются в улицы, то рассыпаются поодиночке. В середине села — серое, из всех самое большое, здание школы имени В. М. Шукшина.

Когда поднимешься на вершину и подойдешь к кромке яра, увидишь картину еще более величественную. Захватит дух от необъятных зеленых просторов. Возвышается будто и не далеко громада Бобьргана, чуть угадываются силуэты дальних гор, серый извилистой лентой тянется легендарный Чуйский тракт с бегущими по нему коробочками машин.

В самом же низу, куда и глянуть-то боязно, течет по зеленому лугу тихая прозрачная речушка Федуловка. На берегу ее сидят с удочками мальчишки, совсем крохотные отсюда...

Нет, недаром Василий Макарович так любил свое село! Наверно, здесь, на Пикете, родились у него эти проникновенные слова.

«...Прекрасная Родина. Красота ее, ясность ее поднебесная — редкая на земле... Моя Родина. Моя. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу Родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько...»

Мы пришли сюда с военруком Сrostинской средней школы Василием Яковлевичем Рябчиковым, школьным товарищем Шукшина

Василий Яковлевич, худощавый, спортивного стройный, встал на самый краешек яра, даже ступни его ног в черных домашних тапках завили над обрывом.

— Вот здесь начинается хребтик. Гляньте.

Я осторожно приблизился. Вниз, к Федуловке, круто уходил узкий, одному человеку еле поместиться, глинистый, скудно поросший травой хребтик с обрывистыми, изрытыми водой и ветром скатами.

— Здесь мы в детстве проводили испытание мужества. Надо было спуститься донизу и снова под-

няться. Пока ползешь вниз да скребешься вверх, от страха взмокнешь. Ухватиться толком не за что, глина под руками осыпается, а сорвешься — метров тридцать лететь надо. Можно без головы остаться.

— И Василий лазил?

— Конечно.

— А были такие, которые боялись?

— Ну, мы обычно с такими дружбы не водили. Они отсеивались... А вон видите площадочку ближе к Чуйскому тракту? Так вот... Когда Василий снимал в Манжероке фильм «Ваш сын и брат», он жил в горноалтайской гостинице. А я в то время учился там в пединституте. Однажды, под выходной, он спрашивает: «Ты домой поедешь?» — «Поеду». — «Возьми и нас с Сашкой».

Сашка — это Александр Саранцев, его друг и однокашник по ВГИКу, между прочим, тоже наш, алтайский. У меня мотоцикл был. Выехали уже в двенадцатом часу (с вечера они долго ленту просматривали). В Березовке, на самом мосту, у меня генератор полетел. Пока сходил к знакомому кинемеханику, добудился, выпросил аккумулятор «прикурить» — времени много прошло. К Сросткам подъехали уже за светло. Он говорит: «Заедем на Бикет». Заехали на ту площадочку, и тут как раз солнце начало всходить. Долго стоял он, лицо у него светилось, потом оборачивается и говорит: «Ну, хоть ночь не спали, зато ты рассвет мне подарил». Отдохнули часов до двенадцати и махнули на рыбалку. Рыбачить он любитель был. Не так рыбачить, как ухачить...

— А где тут снимали заключительную сцену «Печек-лавочек»?

— Вот здесь он сидел босиком у костра. Хотелось ему прославить свою Родину, Сростки. Но не все его тогда поняли. И сростинцы в том числе. Сильно он это переживал.

Мы присели на теплую землю. Не хотелось отсюда уходить.

— Василий Яковлевич, а почему гора называется Пикет?

— Говорят, в старину здесь казачий пикет стоял, охранял русскую землю от набегов кочевников. Сюда, на Бикет, мы в войну ходили солодку искать. Корень есть такой. Сладкий. Сладостей в войну никаких не было. Я на три года моложе Василия, но играли всегда вместе. Катунь нас связывала: куда-не, рыбалка. Дрались, конечно. Сейчас в Сростках улицы появились, а тогда концы села назывались по местному: Низовка, Баклань, Дикари, Мордва. Мы с Василием были с Низовки. Низовские с Бакланью всегда дрались. Уж так велось от дедов-прадедов... В игры всякие играли. Однажды задумали пьесу поставить. Чья идея, уж не помню. Сочинили ее сами по «Острову сокровищ» Стивенсона. Ваня Баранов, покойничек, играл Бонса. Василий, кажется, капитана шхуны, я юнгу, Иван Мазаев (инвалид был с детства, ходил на костылях, теперь тоже умер) — пирата. Витька Александров участвовал, Шурка Куксин, Сашка Колокольников — всех уж не помню. Репетировали в конторе МТС. Она тогда только строилась. (Теперь ее нет, сломали). Но до конца эту затею не довели. Часть ребят разъехались, так и заглохло. Ну, а война началась — всем досталось. Работали наравне со взрослыми. Читали его рассказ «В те далекие зимние вечера»? В нем он себя описал, маму, сестренку, свое военное детство.

Василий после седьмого класса поступил в Бийский автотехникум, но потом бросил его и уехал. Куда, зачем, ничего никому не сказал. Позже узнал от тети Маруси, Васьини матери, что призвали его в армию, служит на флоте. В 1951-ом я тоже ушел в армию, вернулся в 1954-ом. С Василием мы встретились

в 1955-ом, он уже был студентом ВГИКа, приехал домой на каникулы. Домой каждый год приезжал. Не забывал родное село. Мы, как услышим — приехал, соберемся к нему. Сам-то он обычно дома сидел, писал или по хозяйству копался.

— О чем у вас разговоры были?

— Да так, о всяком. Он не шибко разговорчив был, особо не раскрывался. Помню, однажды спросил: «Не знаешь, где медвежьего сала достать? Опять с желудком плохо. (У него язва была.) Так много надо сделать, особенно со Стенькой Разиным. Наверно, не успею». О Стеньке Разине последние годы часто говорил. Самая его заветная мечта была.

— Чем-нибудь он отличался от сверстников?

— Особо ничем. Разве что большой пародист был: кого хошь изобразит. У него в детстве даже кличка была: «Ахвоня». (В деревнях всем клички дают.) Жил у нас Афанасий Никитин, чудаковатый мужичок. Василий его так, бывало, представит — животики порвешь.

— Слава его не испортила?

— Вот уж чего нет — того нет, — даже обиделся Василий Яковлевич. — До последнего часа оставался простым сростинским мужиком. За что я и люблю-то его больше всего: за простоту и человечность...

На обратном пути спустились немного в сторону Сросток, остановились. У самой подошвы Пикета белел, отличный от всех, большой и красивый кирпичный дом под железной оцинкованной крышей.

— Его последний дом, — сказал Василий Яковлевич. — Любил он его.

2

Мать и сестра Шукшина живут в Бийске. Мать, мне сказали, уже третью неделю в больнице, а сестра на просьбу о встрече (разговор шел по телефону) ответила примерно так:

— Поймите меня правильно. Я не могу сейчас ни с кем говорить о брате. Сразу расплачусь, а какое вам удовольствие видеть плачущую женщину? У меня сердце разрывается от горя и жалости, как вспоминаю о нем. Вам даже представить трудно, кем он был для нас: для мамы, меня, моих детей! Всегда такой заботливый, ласковый, веселый! И вот увидела его в гробу и не узнала. Каменный, совсем каменный. Почему каменный-то? Он никогда таким не был!

В голосе ее послышались слезы. Подавив их, она продолжала:

— В общем, не обижайтесь, пожалуйста, но сейчас я ни с кем не могу говорить о нем. Книжек его не читаю. Как увижу его портрет — сразу в слезы.

Рассказывали, после смерти брата она полтора месяца лежала больной. Но желание познакомиться с сестрой Василия Макаровича, ну хоть глянуть на нее, стало еще сильнее. Что-то в ее голосе, ее словах привлекало. Попросил разрешения позвонить еще. Она согласилась, лишь предупредила, что до восьми вечера ее дома не бывает, она ездит в больницу к маме.

Вернувшись из Сросток, я, как и условились, позвонил ей, передал привет от Василия Яковлевича Рябникова, ее бывшего одноклассника.

Подумав, она предложила:

— Если... не будет вопросов, заходите.

В субботу в середине дня мы пришли к ней с Тигрием Георгиевичем Дулькейтом, директором Бийского бюро путешествий и экскурсий. Тигрий Георгиевич — горячий поклонник творчества Шукшина, к тому же знаком с его матерью и сестрой.

Он представил меня. Наталья Макаровна приветливо улыбулась, протянув красивую, обнаженную до плеча руку.

Она показалась мне простой и доброй женщиной, приветливой, отзывчивой на шутку.

Разговор налачился легко. Вначале он завязался вокруг «разрешенных» вопросов, но постепенно вошел в желаемое русло.

— Наталья Макаровна, вы до войны жили в Бийске?

— Жили немного в сороковом — сорок первом годах. В Заречье. Я даже адрес помню: переулок Смоленский, 15.

— Это был ваш дом?

— Не помню. Надо у мамы спросить.

— И Василий учился в бийской школе?

— Да. Он ходил в четвертый класс, я во второй. Только тогда он был не Шукшин, а Попов — на девовой фамилии. И в сростинской школе был Поповым. Лишь когда поступил в автотехникум, снова стал Шукшиным.

— А в какой школе он учился?

— Номера ее я не помню. Она находилась на углу улицы Горького и Катунского переулка. Небольшое двухэтажное полукаменное здание: первый этаж кирпичный, второй — деревянный.

— Оно сохранилось?

— Не знаю. Признаться, еще не была там. Все никак не соберусь.

— А дом ваш цел?

— Тоже не знаю.

— Так съездимте, Наталья Макаровна!

Но съездить по ряду причин удалось лишь на третий день.

За это время я узнал, что школа, где учился Василий Шукшин, носила имя Г. С. Шацкого, члена Бийского ревкома, убитого бандитами в 1920 году. Это была небольшая начальная школа, филиал нынешней 10-ой. Ее снесли в начале шестидесятых годов, когда начали строить мост через Бию и потребовалось спрямить дорогу. Мне даже удалось найти двух старушек, учительствовавших перед войной в этой школе. Но они, как ни силились, не могли вспомнить Васю Попова, ученика четвертого класса...

А дом № 15 в Смоленском переулке оказался цел. Он стоит почти у самого бора и от Бии тоже недалеко.

Наталья Макаровна долго разглядывала его по-темневшими от волнения глазами, потом сказала:

— Он. Только тогда он по-другому выглядел: тесом не был обшит и крыт по-амбарному на два ската. Дом этот был не наш, мы тут квартировали, я у мамы уточняла. Она тогда училась здесь, в Бийске, на курсах кройки и шитья, и нас взяла к себе... И эти сосенки я помню, и дом напротив. Только тогда он казался мне большим-большим...

Экскурсия в детство, видимо, взволновала ее.

— Когда началась война, отнима сразу взяли в армию. Мама поехала в Сростки устраивать насчет переезда, а нас оставила у тети Маши в Катунском переулке. Тетя вышла куда-то, а Василий глянул в шкаф и зовет меня:

— Таля, смотри!

Там он ржаной хлеб увидел. А мы голодные были, как волки. Отрезал Вася ломоть мне, ломоть себе — вдруг тетя Маша входит! Что тут началось!..

В общем, ушли мы от нее и в придорожной канаве переночевали. Не спали, а так, дрожали всю ночь. А в войну этой голодовки хвятили — ужас!.. Помню, однажды Василий принес из Березовки — это за двенадцать километров — картошки полмешка. Сва-

лил ее с плеча, а она рассыпалась, застучала по полу, словно камни-голыши. Замерзла! И сам он насквозь промерз, от пота закуржавел, весь в инее, сле на ногах держится. Мальчишка ж еще был, господи! Вспомню — слезы навертываются...

У Натальи Макаровны повлажнели глаза. В волнении ворошит она пальцами свои короткие рыжеватые волосы, тяжело вздыхает. Немного успокоившись, продолжает:

— Он рано «впился» в книжки. Это его словечко. Читал запоем и все, что попадет. С керосином тогда туго было, так он жировушку смастерит, спрячется под одеяло и читает ночь напролет. Однажды уснул, одеяло прожег.

Приспособился при луне читать. Заберется на баню (там у нас сеновал был) кастрюлей себе подсвечивает и читает.

У нас одно время квартировал секретарь райкома партии Володин Георгий Михайлович, добрый такой дядечка. Видит: у парня книжный запой, достал ему где-то банку карболки — для подсветки. Вот Вася радовался!

В библиотеке тогда по одной книжке давали, так он, как библиотекарша отвернется, еще одну-две прихватит и под рубашку! Прочитает — назад положит.

В войну работала у нас в Сростках эвакуированная из Ленинграда Тесаревская Анна Павловна, географичка, наша любимая учительница. Мама пошла к ней посоветоваться, что делать с сыном. Не оторвешь от книжек. Как бы что с головой не случилось, да и от учебы отстал. Анна Павловна пригласила Васю, побеседовала и составила ему список, что надо прочесть в первую очередь.

Такие списки потом ему еще два человека составляли: библиотекарша в Севастополе, когда он служил во флоте, и Михаил Ильич Ромм, уже во ВГИКе. Василий говорил, что ему эти списки здорово помогли.

Мама сначала была против чтения: за здоровье его боялась и за учебу, а потом сама начала ему книжки покупать. Помню, после войны принесла Гоголя, Достоевского — крупные размером, сейчас так не издают.

Наш сростинский судья Баев Иван Иванович любил с Васей побеседовать. Порой допоздна засиживались. Баев говорил потом, что у него такое впечатление, будто со взрослым разговаривает. А ведь Васе тогда и четырнадцати не было...

Писать он начал лет с семнадцати, в автотехникуме. Посылал рассказы (или что еще) в Москву, в журнал «Затейник». Впрочем, не уверяю. Мама говорит: в «Сибирские огни». Оттуда ему приходили ответы по адресу: «Сростки, Шукшину Вас. Мак.». А у нас в селе был водовоз Шукшин Василий Максимович. Письма приносили ему, и он их преспокойно использовал на курево: с бумагой тогда мужики бедствовали.

Случайно про письма узнала Мария Сергеевна. Она рассказывает об этой истории так.

— Я работала тогда в парикмахерской. Однажды стригу одного гражданина, вижу в зеркало: заходит Василий Максимович. Поздоровался, сел на стул, вынимает кисет, из кисета большой такой лист бумаги, на листе что-то напечатано на машинке, отрывает от него кусочек и свертывает сигарку. Пока я первого клиента обслуживала, он покурил, садится тоже в кресло.

Спрашиваю его:

— Что ты за бумагу такую куришь, вроде на документ похожа?

— Да вот, — говорит, приходят какие-то письма, а я туда сроду не писал. Ну и курю, куда их девать-то!

— А ну, покажи.

Глянула на бумажку-то, аж сердце зашло. Родима маменька, это ж Васе писано! Он тогда в автотехникуме учился, а письма ему на Сростки шли. Он, бывало, только порог переступит, сразу спрашивает:

— Мам, писем нету?

— Нету, сынок.

— Ну что такое!..

Расстроится сразу, поскучнует. Иной раз явится, когда и не должен приезжать, и опять первым делом про письма. Уж так он их ждал, бедненький, так ждал... А они, вишь, на курево шли.

— Пойдем, — говорю, — в райком, Василь Максимиыч.

— Что ты, Марья, зачем я в райком пойду?

— Пойдем. Там все объяснишь.

Кассирша меня поддержала. Пришли к третьему секретарю. Василий Максимович объяснил ему, как было дело-то. Приходят откуда-то письма в больших конвертах, иногда в трубочку свернуты, подписаны: «Шукшину Вас. Мак.» Письма не ему, а откуда пуганица идет, он разобраться не мог. Вот и складывал их на божницу да курил потихоньку. Бумага подходящая.

— Осталось у вас что-нибудь?

— Да есть еще одно или два.

Пошли, забрали. Секретарь вызвал начальника почты, письмоносца, взгрел их как следует. Да они-то, по-моему, ни при чем.

— Мария Сергеевна, а не сохранились те письма?

— Что ты, милый. Конечно, нет...

3

— После семилетки Василий поступил в Бийский автотехникум, — рассказывает Наталья Макаровна. — Специальность хорошая, и не только по деревенским меркам. А он проучился три года и бросил, хотя оставался один год. Одни говорили: английский ему не давался, другие — не мог понять, как там поршни в двигателе работают, но, по-моему, дело не в этом. Одолевал бы он и поршни и английский, но не чувствовал к ним ни малейшего призвания. А в чем было его призвание, наверно, и сам толком не знал. Что-то сидело в нем, мучило, не давало покоя, а что?.. Может, смутил его душу короткий разговор с преподавателем русского языка и литературы в техникуме? После одного из сочинений на свободную тему он будто бы сказал ему:

— Ты, Шукшин, после техникума не останавливайся, учись дальше. У тебя что-то есть.

Мечта о писательстве, по-моему, с детства в нем сидела.

В общем, бросил он техникум, вернулся домой и говорит:

— Мам, я в Москву поеду.

Зачем? Для чего? У нас же там ни родных, ни знакомых. Да и время-то какое трудное — послевоенное!.. Как он мать уговорил, до сих пор не понимаю. По-моему, и не уговаривал очень. Сама поняла, сердцем почувала: не удержат его дома. Продали корову Райку, выручила три тысячи старыми деньгами и все отдала ему.

— Езжай, сынок.

И Василий уехал. Был во Владимире, Калуге, Москве, работал грузчиком, маляром, разнорабочим, слесарем. Голодал, бездомничал. Однажды ехали с ним из Судака в Москву. На одной из подмосковных станций, название я забыла, он показывает в окно и говорит:

— Видишь скамейку? Я спал на ней когда-то...

Однажды во время этих скитаний оказался в

Москве. Здесь у него произошла случайная встреча с известным кинорежиссером Пырьевым.

Вот как вспоминает о ней сам Василий Макарович: «Помню, нужно мне было где-то переночевать, а денег не было. Пристроился на скамейке на набережной. Вдруг около меня остановился какой-то человек: покурить, видно, вышел. Разговорились, оказалось: земляки. Он тоже из Сибири, с Оби. Он узнал, что я с утра не ел, повел меня к себе. Допоздна мы с ним чай гоняли и говорили, говорили. Это был режиссер И. А. Пырьев. Он мне рассказывал о кино, о жизни. Что-то у него тогда не ладилось, вот он и выложился перед незнакомым парнишкой. Когда мы встретились через десять лет, он меня не узнал, а я этот разговор навсегда запомнил».

Не он ли заронил в душу сельского парня дерзкую мечту о кино, о трудном актерском и режиссерском ремесле?

А позже, наверно, добавил масла в огонь тот мичман, который после концерта художественной самодеятельности на корабле, где матрос Шукшин выступил с особенным успехом, подошел и сказал:

— Молодец, Шукшин! Учиться надо вам по этой линии. Способности есть — дело пойдет.

В армию он был призван из Подмосковья. Служил радистом на одном из кораблей Черноморского Флота. Демобилизовали его досрочно: врачи обнаружили язву желудка. Сказались голодное детство, послевоенные лишения. Оперировать не дался. Приехал домой. Мать принялась лечить сына домашними средствами. Ей трудно приходилось: зарабатывала гроши, тянулась на Наташу, учившуюся в Новосибирском пединституте, выхаживала больного сына.

Сын видел все это. Ему тоже было не сладко. Двадцать три года за плечами, а пока лишь семь классов образования и, по сути, никакой специальности. Да еще две язвы в желудке. Люди в его возрасте обычно уже находят свою дорогу, устраиваются к какому-нибудь делу. Василий еще ничего не нашел.

Он поступил в вечернюю школу, одновременно начал готовиться к экзаменам на аттестат зрелости.

Мать, видя, с какой настойчивостью сын налегает на учебу, пыталась увещевать:

— Ну чего изводишься? Отдохнул бы сначала, подлечился.

— Некогда, мама, — мягко, но непреклонно отвечал тот. — Догонять надо.

За один год он подготовился и сдал экстерном за три класса, получил аттестат зрелости и снова забрался в Москву. Но опять обострилась язва. Поездку пришлось отложить.

Сростинский райком КПСС, как вспоминает об этом бывший первый секретарь Федор Иванович Доровских, проживающий ныне в Бийске, решил помочь больному морячку, сыну вдовы фронтовика. Шукшин был назначен директором вечерней школы для взрослых. Одновременно преподавал в ней русский язык и литературу.

«Учитель я был, честно говоря, неважнецкий, — вспоминал Шукшин впоследствии. — Без специальности, образования, без опыта. Но не могу я забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-то важное, интересное и интересно. Я любил их в такие минуты и в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас таких минут. Из них составляется счастье».

В это время он вступил в партию. Отправляясь

в райком, Василий Шукшин, обычно не любивший громких слов, сказал матери:

— Ну, мама, на великое дело пошел.

Ф. И. Доровских, вручая ему кандидатскую карточку, поздравил, спросил о здоровье, планах.

— Здоровье как будто поправилось, — как всегда немногословно ответил Шукшин. — А планы... Учиться хочу.

Да, здоровье поправилось, и работа была неплохая, но мать-то видела, как сын часто ходит скучный, хмурится, вздыхает. Однажды под села рядышком, заглянула в глаза.

— Что ж, сынок... Деньжонок мы немного поднакопили. Езжай, учись...

Секретарь райкома Ф. И. Доровских как-то зашел постричься в парикмахерскую, где работала Мария Сергеевна. Спросил:

— Правда ли, что вы отправляете сына в Москву?

— Правда.

— Мария Сергеевна, а не боитесь вы, что у вас не хватит сил одновременно учить сына и дочь?

— Как-нибудь выдюжу.

— Если ему не нравится учительство, мы могли бы подыскать другую работу. Комсомольскую, например. Вы бы поговорили с ним.

— Нет. Пусть едет, куда душа его стремится. Там он больше пользы принесет.

Мама, мама... Какое мудрое у нее сердце! Недавно так любил ее Василий, так гордился ею!

Позже из ВГИКа он писал ей: «Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители: образование, профессия и пр. У всех почти писатели, артисты, ответработники. Доходит очередь до меня. Спрашивают, кто из родителей есть.

— Отвечаю:

— Мать.

— Образование у нее какое?

— Два класса. Но понимает она у меня не менее министра».

4

В Москве Василий Шукшин толкнулся сначала в Литературный институт. Но там ему объяснили, что поступающий должен иметь опубликованные произведения или, на худой конец, отпечатанную на машинке рукопись стихотворения, рассказа. Ни того, ни другого у него не было.

Тогда он сдал вступительный экзамен в историко-архивный институт. Сдал на пятерки. Но, когда у него потребовали недостающие документы, сказал, что они еще идут из Сибири. А сам решил — была не была — попытаться счастья во ВГИКе, Всесоюзном государственном институте кинематографии. Экзамены там проходили позже. Был допущен к экзаменам. Об одном из них впоследствии рассказывал так: «Подошел к столу. Профессор Ромм о чем-то пошептался с профессором Охлопковым и спрашивает:

— Ну, земляк, покажи, пожалуйста, как ведут себя сибиряки в сильный мороз.

Напрягся я, представил себе холод, съезжился, начал уши тереть, ногами постукивать.

Охлопков спрашивает:

— А еще?

Больше ничего не мог придумать.

— А нос? Да, это ты, братец, забыл.

Помолчал и спрашивает:

— Слышь, земляк, а где сейчас Виссарион Григорьевич Белинский работает? В Москве или Ленинграде?

— Критик-то который?

— Ну да, критик-то.

— Да он вроде помер уже.

— Да что ты говоришь?

Смех. А мне-то какво?

Когда вывесили список, не поверил глазам: прият! По всем предметам «отлично!»

Вряд ли все это было так легко и просто, но факт есть факт: за один «заход» Шукшин сдал в два института, причем в оба на «отлично».

Куда же идти?

И он снова обращается к матери. Вопрос на этот раз, правда, больше о материальной стороне. Историко-архивный институт был заочным, ВГИК — очным. Сможет ли она учить его в очном институте?

Мать ответила без промедления: «Смогу».

Так Шукшин стал студентом режиссерского факультета ВГИКа. Его взял в свою мастерскую Михаил Ромм. Выдающийся режиссер сумел разглядеть крупницы настоящего таланта в скромном и неотесанном деревенском парне с обыденным, неприметным, совсем не артистичным лицом и негромким голосом. Парню было 25 лет. Многие в его годы кончают учебу. Он только начинал. Своими познаниями в искусстве он уступал многим из сокурсников. Зато у него за плечами были такие университеты жизни, каких ни у одного из них не было. Пришло время — и это сказалося.

«Мне было трудно учиться, — вспоминал он. — Знаний я набирался отрывисто и как-то с пропусками; кроме того, я должен был узнать то, что знают все и что я пропустил в жизни. И вот до поры до времени я стал таить, что ли, набранную силу. И как ни странно, подогревал в людях уверенность, что правильно: это вы должны заниматься искусством, а не я. Но я знал, наперед знал, что подкараулю в жизни момент, когда окажусь более самостоятельным, а они со своими бесконечными разговорами об искусстве окажутся несостоятельными...»

Он окончил институт в тридцать лет. Первую книжку рассказов — «Сельские жители» — опубликовал в 34 года. Первый кинофильм — «Живет такой парень» — создал в 35 лет. Нелегко и нескор был его путь в искусство...

В Сростках более трех тысяч человек и, наверно, не один десяток улиц и переулков. Но если вы захотите написать письмо Дарье Ильиничне Фалеевой, смело можете указать только фамилию и название села. Письмо дойдет!

Сростинцы хорошо знают и уважают эту всегда приветливую, всегда в ровном настроении женщину с седыми висками и молодым добрым взглядом светло-карих глаз. Более тридцати лет ее жизни прошло в этом селе. Приехала сюда в войну. Муж погиб на фронте. Жила, работала, растила детей, не жаловалась на вдовью долю. Двадцать семь лет отдала районной библиотеке, до недавнего времени была ее заведующей.

31 июля 1975 года Дарье Ильиничне присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Василия Шукшина она знает с детства. Помнит его застенчивым, бедно одетым мальчишкой, умницей и книгоедом. В 1952 году он появился в Сростках в матросской форме, исхудавший, с бледным землистым лицом. Слышала: мучается с язвой. Но лечился ли, учился ли — всегда находил время прийти в библиотеку. Подолгу листал книжку за книжкой худыми прокуренными пальцами, острым взглядом пробегал по страницам, играл желваками, всегда серьезный, малоразговорчивый, но не угрюмый, а ско-

рее застенчивый. Словечка зря не обронит. Однажды спросил, подавляя смущение:

— Нет ли чего-нибудь про актеров и режиссеров?

Дарья Ильинична удивилась. Актерами еще так-сяк, а режиссерами в Сростках сроду никто не интересовался. Подобрала, что нашлось, спросила, зачем ему это.

— Хочу в кинематографический институт поступать, — ответил он, как отрубил.

Скажи это любой другой, она приняла бы за шутку. Но Василий был не из болтунов. Однако смелая у парня мечта! Из Сросток, в кирзовых сапогах да сразу в институт кинематографии. Не верилось, что такое возможно. Но переубеждать не решилась. Видно было — решил всерьез.

Осенью от Марии Сергеевны узнала: приняли! От души порадовалась за Василия.

Первое появление Василия Шукшина в кино не вызвало в Сростках особого восторга. Однажды Шура Куксин, киномеханик, двоюродный брат и друг Шукшина, разнес по селу весть:

— Привезли новый фильм, в нем играет Василий.

Народу в клубе собралось множество. И вот увидели: из-за плетня выглянул молодой матрос. В зале зашумели.

— Васька, будь он неладен!

Но не успели толком разглядеть земляка, в матроса выстрелили, он упал, пытался подняться и — пошли другие кадры.

Сростинцы покидали клуб будто обманутые.

— Тоже мне! Стоит ли пять лет в Москве учиться, чтобы из-за плетня выглядывать!..

Но вскоре вышел фильм «Два Федора», и заговорили по-другому.

— В 1967 году, — рассказывает Дарья Ильинична, — Василий Макарович, как всегда, приехал в Сростки, в отпуск. Я решила организовать встречу с ним. Поговорила кое с кем из сростинцев, а они отвечают:

— Да что нам с ним встречаться? То ли мы его не видели.

Что греха таить, у некоторой части сельчан было предубеждение к нему. На чем оно основано, даже не знаю. Наверно, лишь на том, что вот он, видите ли, Васька Шукшин, так высоко вырос, а мы на месте остались. Василий остро чувствовал это и глубоко переживал, что кое-кто в родном селе считал его за отрезанный ломоть. Говорят, иногда вечером ходит по комнате, кулаки сжимает и твердит:

— Черти, я ж люблю вас!

К этому времени он получил уже широкое признание как писатель, режиссер, киноартист, но мнение безземляков, односельчан было для него далеко не безразлично. Когда в 1972 году в «Алтайской правде» и «Бийском рабочем» раскритиковали его «Печки-лавочки», а кто-то из земляков прислал ему оскорбительную анонимку, он откликнулся страстным письмом (оно опубликовано в феврале 1974 года в журнале «Смена» под названием «Признание в любви»). Это действительно признание в любви к своей Родине, людям, родному краю. Так мог написать лишь человек большой души и горячего сердца, беззаветно любящий свою Родину и кристально чистый перед нею...

Однако расскажу о встрече. Несмотря на прохладное отношение к ней некоторых сельчан, решила рискнуть. Пошла с ним договариваться. Встретил он меня приветливо, проводил к себе. Я увидела уже не того угловатого застенчивого парня, который спрашивал когда-то «что-нибудь про актеров и режиссеров», а высокообразованного культурного человека.

Не утерпела, сказала ему:

— Как вы здорово выросли, Василий Макарович! От души рада за вас.

Он лишь улыбнулся в ответ.

На просьбу о встрече ответил не сразу. Походил, покурил, долго приминал окурки в пепельнице.

— Хорошо, согласен.

Видно, не легко далось ему это решение. На встречу с сельчанами он смотрел как на большое ответственное дело.

Оформили мы в клубе выставку, где показали его творчество как писателя, режиссера, актера. Но встречу с ним решили провести сначала с учениками седьмых — десятых классов.

Два часа он рассказывал им о работе актера, режиссера, о том, как делаются фильмы, о своих планах, и два часа слушали его, как говорят, заставив дыхание. Потом, конечно, рассказали об этом дома. Вечером клуб был полон.

Василий Макарович очень волновался, идя на эту встречу. Сестра Наталья Макаровна всю дорогу успокаивала его. Он отвечал:

— Не могу, Наташа, не могу. Будто в чем виноват перед ними!

И на сцене первое время на каждом слове спотыкался.

А перед какими аудиториями уж не выступал!..

Встреча получилась хорошей, теплой. Выступавшие благодарили Василия Макаровича за ту радость, какую он доставляет своими произведениями и игрой в кино, желали здоровья и дальнейших успехов. Благодарили и его маму, вырастившую такого замечательного сына.

У него, помню, даже слезы блеснули. Встал, поблагодарил всех, потом подошел к столу президиума и расцеловал маму и бывшую свою учительницу Анну Андреевну Соломину. Она сейчас на пенсии, живет в Бийске.

В семидесятом году я решила снова провести встречу с ним. Он согласился, но попросил.

— Вы зайдите за мной, вместе в клуб пойдем, а то некрасиво как-то одному.

По дороге признался, что опять побаливает желудок. Я спросила, не много ли он взвалил груза на себя. Ведь фактически три воза везет. Машина перегруженная и та ломается.

Он ничего не ответил. Видимо, думал о встрече. И опять не выступал, а словно отчитывался перед земляками. Таким он в тот вечер казался мне почему-то своим, деревенским. Ну ничего не взял себе городского! А ведь был уже заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, кавалером ордена Трудового Красного Знамени, лауреатом многих кинофестивалей!..

В тот вечер он много рассказывал о работе над «Степаном Разиным». Признался, что, наверно, это будет его последний фильм...

После «Степана Разина» Шукшин намеревался посвятить дальнейшую жизнь в основном литературному труду. В одном из писем матери так писал:

«...У меня в мыслях-то — в дальнейшем — больше дома жить. Вот после этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, совсем редко, а лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так... Тянуть эти три воза уж как-то не под силу становится. И вот мечтаю жить и работать с удовольствием на своей Родине...»

А вот его слова после встречи с Шолоховым. (В составе съемочной группы фильма «Они сражались за Родину» он был у него в Вешенской):

«...Я думаю, что не своим делом занят, видно, надо садиться писать. Нужно перестраивать жизнь, с

чем-то расставаться, либо с кино, либо с театром, а может, даже с московской пропиской...»

И еще хочется привести такое его высказывание:

«...Когда-нибудь я вернусь на Родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности». Всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на Родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу...»

5

Дарья Ильинична много лет собирает материалы о В. М. Шукшине. Она вкладывает в это дело всю душу. Все, кто бывает в Сростках и интересуется Шукшиным, заходят к ней. Она охотно предоставляет собранные ею газетные и журнальные публикации, фотографии, свои объемистые записи. Скромная сростинская библиотекарша знает жизнь и творчество своего знаменитого односельчанина, как очень и очень немногие на Алтае.

Мне довелось слушать ее беседу о Шукшине с группой бийчан. Четыре часа говорила она, и все четыре часа ее слушали с неослабным вниманием. Женщины даже всплакнули, и сама она всплакнула не раз. Было такое впечатление, что перед ними выступает не посторонний человек, а мать или сестра...

Затем она провела нас по Сросткам, показала дома, где в разное время жили Шукшин и его мать, заросший крапивой переулочек, которым он бегал в школу, и саму школу.

Напоследок вышли к реке Катунь. Она сравнительно спокойна здесь и не очень холодная. Заросшие лесом и кустарником острова скрывают ее ширину. Жарко припекало солнце. Затопленные мальчишки резвились в мутновато-белой воде. Женщины полоскали белье. Две девушки в ярких купальниках сидели в лодке, привязанной цепью к железному кольщику. Лодка чуть покачивалась на волнах.

Наверно, все это было и три нем. Он любил приходить на этот галечный берег. Садился вот так же в лодку и часами просиживал с книжкой. Или улпывал на острова Поповский, Боярышный или Прямой, где так хорошо было посидеть на зорьке с удочкой или просто полежать на траве, помечтать без помехи, глядя на быструю воду...

Здесь, на берегу его родной реки, когда слушаешь о нем, он встает перед глазами особенно земным и понятным, как кровная частица этого солнечного, цветущего мира, в котором всего хватает: и счастья и бед...

Владислав Александрович Ковердяев, бывший оператор Бийской студии телевидения, пригласил нас с В. Ф. Белозерцевым, работником краеведческого музея, к себе на квартиру — посмотреть фильм о Бийске с участием Шукшина. Пока перематывали ленту, рассказал:

— В 1967 году задумали мы на студии снять фильм о нашем городе, его прошлом и настоящем. Сценарии заказали Марку Юдалевичу, режиссером был Федя Клиндухов, оператором я. Задумка была такая: показать город через восприятие человека,

который когда-то здесь жил, а потом долго не бивал. Задумка хорошая, но как к ней подойти? И тут кто-то подал идею — пригласить Шукшина. Он ведь тоже немного бийчанин: в сороковые годы учился в нашем автотехникуме.

Узнали, что он находится в сельском райкоме, поехали с Федей приглашать. Сильно опасались: согласится ли? Масштаб для него не тот: известный режиссер, актер, писатель, и вдруг — Бийская телестудия! Но он — на удивление — согласился сразу.

Сели в наш «газик», поехали на съемку, в квартал АБ:

По дороге Федя, смотрю, разговорился с ним, а я сидел воды в рот набравши. Ну о чем, думаю, с таким человеком разговаривать? Он вон кто, а я вон кто. Потом, когда ближе его разглядел, даже поспеялся над собой.

Маленько поснямали, поужинали, шофер говорит:

— Поедемте ко мне в Савиново.

Шукшин сразу согласился:

— Поехали!

Едем, глядим: мужик на тракторе пашет. Василий говорит:

— Пойдите, хочу с ним поговорить.

Вылез из машины, пошел к трактору. Я было тоже хотел за ним увязаться, Федя остановил:

— Не мешай.

Видим: уселись они у гусеницы, о чем-то разговор у них завязался, курят, руками размахивают, Шукшин блокнот вытаскивает.

Долго проговорили. Шукшин возвращается, вид задумчивый, на ходу что-то в блокноте черкает.

Спрашиваем:

— Знакомый, что ли, попался? Земляк?

— Нет, ребята. Я его первый раз вижу. Очень интересный человек.

Удивительно легко он с людьми сходился. Я с ним один вечер провел, и мы уже были на «ты», он меня «Слава», я его «Вася». Хотя к друзьям его себя не причисляю, вы, ребята, не подумайте. А то у него сейчас много друзей появилось... После смерти.

Ну, ладно. Чтоб вы не скучали, песенку вам заведу. А я пока последнюю часть перемотаю.

Он включил магнитофон. Послышался негромкий басок Шукшина и нежный, мелодичный голос Федосеевой:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
И в том краю далеком
Назовешь ты меня женой...

В простенькой песенке было что-то милое, трогательное, шукшинское.

— Ну как? — спросил Владислав Александрович.

Он даже мотать перестал ленту, глаза его блестя.

— Хорошая песня!

— То-то. Однажды были у него в Сростках. Сидим за столом, вдруг он предлагает: «Ребята, хотите, я вам новую песню спою?»

И спел. Вот эту. Слушайте, люди... Сейчас, конечно, все перегорело, а тогда, поверите, сидел как дурак и глаз с него не сводил. Ну какой же он тогда был! Не артист, не писатель, не режиссер, а просто Вася Шукшин, сростинский парень... Потом он эту песенку в свой фильм «Странные люди» включил.

Фильм о Бийске оказался довольно бедным по содержанию, и Шукшин в нем, собственно, никакой роли не играл. Просто показался несколько раз. Мы засобирались уходить (был уже поздний час), но Владислав Александрович сказал:

— Подождите, еще кое-что покажу.

И вставил в аппарат небольшую катушку киноленты.

Мы увидели на импровизированном экране момент съемки заключительных кадров кинофильма «Печки-лавочки». Шукшин в фуфайке и босиком сидит в задумчивой позе у костра, почти над его головой висит на кране оператор, вокруг суетятся какие-то люди.

— На Пикете снимали. Они тогда и ночевать остались там. Купили барана, Василий привез из дому продуктов... Но я вам о другом хочу рассказать. Года за два до «Печек-лавочек», а может больше, были мы с ним как-то на Пикете. Он и говорит:

— Всю жизнь мечтаю снять эту красоту! Слушай, давай поищем точку съемки.

Походили, попримеривались, он остановился и каблуком в землю ямку продавил.

— Вот здесь. Отсюда.

И, когда снимал последнюю сцену «Печек-лавочек», точно на этом месте кран для оператора поставил. Здорово, а? Я так думаю, что с этой точки он не только Сростки свои видел, а что-то большее...

6

— Дите вырастить — все равно что дом построить. Если фундамент заложен ровно, и дом будет стоять прямо. Если же фундамент сделан неровно, то и дом будет стоять набок. Так и дите...

Эти слова любил повторять дед Василия Шукшина Сергей Федорович Попов.

Их крепко запомнила его дочь Мария Сергеевна. Трудно сложилась жизнь у этой простой русской женщины. В 1937 году потеряла мужа, осталась с двумя малютками на руках.

— Приду с работы, а мои дитенушки у крылечка спят. И собака с ними. Перетаскаю в избу, накормлю, уложу, а утром — снова на работу...

Вторично вышла замуж за Павла Николаевича Кукуина, хорошего доброго человека. Но вскоре началась война, и она опять осталась вдовой.

Как ей и ее детям достались военные годы — лучше не вспоминать. Но в тяжелых испытаниях не растеряла веры в людей, природной доброты и щедрости душевной. И сумела передать эти качества детям. Она всегда была для них самым добрым, самым справедливым, самым интересным человеком на свете.

Василий не знал отдыха лучше, чем сказки и песни матери.

— Бывало, до рассвета проговорим, а он, милый, все бы слушал и слушал... Пока учила их, продала почти все, что имела, осталась в одной юбочке, перешла в развалюху, выметалась до того, что, как говорят, иголкой ткни — кровь не пойдет.

Но ни разу дети не слышали от нее ни одной жалобы. Соберутся на канюкулы, спросят:

— Мам, деньги-то на обратную дорогу есть?

— Есть, детки, есть. Не беспокойтесь.

А сама перед этим полсела обегает, в профсоюзе побывает, чтобы достать нужную сумму. Почти каждый месяц они получали от нее посылки (Василий называл их маленькими вагончиками) с деревенскими постряпушками, рукавичками, носками и прочим.

Когда отправляла сына в Москву, кто-то из сельчан спросил с удивлением:

— И куда ты, Марья, тянешься? Генерала, что ли, хошь из него вырастить?

— Выше генерала, — ответила она. — Хочу, чтоб настоящим человеком стал.

Потом Василий купил ей дом, лучший в селе,

обеспечил всем необходимым, окружил заботой и вниманием. Одного не мог купить: здоровья. Здоровье было потеряно. Ей уже не под силу было жить одной в большом и пустом доме, топить печи, вести хозяйство.

Тогда сын перевез ее в Бийск.

Ее городская квартира состоит из двух комнат, но живет она фактически в одной. Здесь стоит ее металлическая кровать со скромной постелью, у кровати — закрытый клееночкой стул, на котором густо теснятся флаконы и коробочки с лекарствами: часть флаконов не поместилась, стоит на полу, под стулом. Полы застланы домоткаными половиками, выдающими сельскую женщину. И со всех стен смотрит Василий.

А вторая комната вся отдана сыну. Правда, здесь тоже стоят и кровать, и диван, и стол, но на кровати никто не спит, за столом никто не работает — они почти сплошь заложены фотографиями Василия, иллюстрированными журналами с его портретами, кинорекламой.

К матери Василия Шукшина приходят и приезжают много людей со всех концов страны. Она показывает им эти фотографии и рассказывает о сыне. Дает читать письма сына, а также те, что пишут ей. Она много получает писем. На некоторых конвертах указан адрес: «Бийск, матери В. М. Шукшина». Это внимание трогает старушку, в какой-то мере, может быть, облегчает ей боль утраты.

Мы с Тигрием Георгиевичем зашли к ней накануне Шукшинских чтений. Это событие, о котором в те дни много писалось и говорилось, видимо, сильно волновало ее. Она была необычно молчалива, жаловалась на недомогание: опять подскочило давление, на руке уже нет живого места от укулов. Но нашла силы провести нас по своему «музею», показала только что полученный из Москвы большой фото-портрет Василия, копию того, что установлен на его могиле.

Напоследок завела пластинку с записью его голоса.

И как у нее хватило сил сидеть вместе с нами, слушать живой голос сына, его лихой свист, песню «Миленький ты мой!»..

Я сбоку смотрел на нее, и слезы закипали у меня в горле. «Безысходное горе», «неутешная печаль», «незаживающая рана» — все эти слова и понятия ничего не значат по сравнению с тем, что было в ее глубоко посаженных серых глазах, одутловатом, нездоровом и будто закаменевшем лице, во всей ее грузной малоподвижной фигуре, обтянутой простеньким домашним платьем.

Пластинка кончилась. Мария Сергеевна выключила проигрыватель, медленным движением поправила на голове темный платок, убрав прядку белых волос, проговорила тихим ровным голосом, каким говорят больные:

— Лежала в больнице, набрала туда Васиных карточек, все разглядывала их. Думала, хоть во сне его увижу. Так и не увидела... Голубь мой ласковый... Никого-то он не обижал, всех любил, за каждого был готов положить свою голову. Самого затоптанного, самого заплеванного человека готов был из грязи вытащить, отряхнуть, на ноги поставить. Всех жалел...

— Доброта у него была какая-то необыкновенная, — рассказывает Наталья Макаровна. — Я всю жизнь не знала, во что мне одевать своих детей: все он покупал. Они у меня двойняшки, пяти лет без отца остались. Когда в гости приезжал — с рук у него не слазили. Кем только он не выступал перед ними: и зайцем, и белкой, и совой.

Смерть мужа очень сильно пережил. Даже на

его здоровье это отразилось. Оно и так у него слабое было.

А как своих детей любил, Машу и Олечку, это рассказать невозможно. Чуть у какой температурка поднимется, он уже сам не свой. Ну мало ли отчего у детей температура бывает? Зубки прорезаются — вот вам и температура. А он места себе не находит, курит и курит без конца да желваками играет, вид такой расстроенный — ну хуже маленького. Если, не дай бог, какой из девочек приедут укол ставить — на лестницу выскакивал. Видеть не мог, как ребенка колют.

Вы читали его рассказ «Как зайка летал на воздушном шарике»? Это он из своей жизни случай описал. Маша как-то заболела, попросила его рассказать сказку про зайку, а он эту сказку забыл. И побежал звонить другу, чтобы тот срочно сел в самолет и вылетал — сказку Машеньке рассказывать.

А о маме так говорил:

— Пусть лучше я раньше умру, чем она. Я не перенесу ее смерти.

И, наверно, не перенес бы...

Первого октября получили мы от него письмо: «Все в порядке, жив-здоров, даже поправился. Выйдете кино — сами увидите».

А второго — вдруг телеграмма... Как снег на голову...

После похорон я полтора месяца лежала. Ноги отнимались. Книжек его до сих пор не могу читать — сразу слезы из глаз. А вообще нравится мне, как он о людях пишет: с любовью, ничего не приукрашивая. Из его фильмов два особенно люблю: «Живет такой парень» и «Калину красную». «Калину красную» ходила смотреть одиннадцать раз! Не брата ходила смотреть, а артиста Шукшина. Особенно глаза его. Какие у него там глаза! В лице жизни уже нет, а глаза живут, светятся, рвутся к жизни. Боже мой, как он умел так делать!..

Кинодраматург и кинорежиссер Б. Метельников, писал после его смерти:

«Жизнь не слишком баловала его, и настоящее признание не спешило ему навстречу. Солнце его

славы уже всходило, но многие, в том числе и он сам, не видели его. И мгновенный и всенародный успех «Калины красной» был похож на солнце, прорвавшееся из-за облаков. И было этому солнцу еще далеко до зенита, когда он умер, как пахарь на поле, едва закончив одну борозду и не успев начать другую...»

За пятнадцать лет творческой деятельности он сыграл в двадцати двух фильмах, из них поставил по собственным сценариям пять; написал два объемистых романа, повесть, пьесу, пять сборников рассказов, около десятка статей. Он, действительно, вез три веза и спешил, спешил, словно чувствуя, как невелик отпущенный ему срок.

У Василия Шукшина есть не только поклонники. О нем спорят, и немало.

Одна из работниц бийской библиотеки, человек очень прямой и честный, к тому же перечитавший Шукшина вдоль и поперек, высказалась о нем так:

— Я уважаю Шукшина, но не поддерживаю ажиотажа, поднятого вокруг его имени. Не спорю, это очень большой и человеческий талант. Он мог бы сделать много, если б не разбрасывался. Но боже, как он разбрасывался!..

Лично я хотела бы видеть его историческим писателем. Уверена, он мог бы создать великолепные исторические полотна. У него получалось. А рассказы... о чем они?

Шукшин вознесен, но не утвержден. Многие его произведения не выдержат проверку временем, потому что они слабы. А повальный интерес к Шукшину — это проявление... стадности, что ли. Далеко не каждый читатель скажет вам, что ему понравился Шукшин. А за книжками его гоняется. Как же, Шукшин!..

Подобные разговоры о Шукшине — не такая уж большая редкость. Сколько в них правды — рассудит Время. Конечно, не все созданное им выдержит проверку временем. Но, думается, и потомки наши оценят по достоинству его яркий самобытный талант, большую строгую любовь к людям, которой пронизаны его книги и кинофильмы.

А любовь любовью отзовется. Так говорят.

Каролина САРАНЧА

НЕ В РОССИЮ — В МЕНЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПТИЦЫ

Естественность поведения в поэзии — как раз это свойство было замечено еще при первых публикациях стихотворений Владимира Башунова. Тогда же складывался, определялся и сам характер стиха молодого поэта — с его эмоциональной наполненностью, душевной открытостью, неподдельностью.

Потом, позже, поэт рассказывает, как все это для него началось:

Твердили дома: «Брось,
а то ни спать ни есть».
Хотел — не удалось.
Откуда шло — бог весть,
В насмешку ли, во зло,
во счастье ли — как знать? —
цвело, кипело, жгло,
а не давалось взять.
Зато, когда звезда
стояла меж дерев,
издалека тогда
мне слышался напев.
Зато я знал в руке
живого слова дрожь.
И голос вдаль
был так на мой похож.

Этот внимаемый внутренним слухом далекий напев более всего, быть может, позволяет поэту оставаться всегда самим собой и по-своему, своим голосом — мягким и чистым — говорит о том, что больше всего его занимает: о природе и человеке, об истоках народного характера и различных проявлениях его, о признательной нежности ко всему отчему.

Лучшие стихи первой книжки Владимира Башунова («Поляна». Барнаул, 1970) и теперь прочитываются как юношески ясная песня благодарения миру — родным людям, родным местам, природе Родины. Особенно же подкупала в них безоглядная изумленность человека перед леса родного та-

инствами, когда «на влажных просеках» и «неприбранных полянах», увиденных свежо, удивленно, благодарно, все порываешься «к чему-то тайному» и никак не догадываешься, не разберешься сам, что же это такое — счастливое творится с тобою. В себя ли вбираешь несказанную красоту земли, сам ли готов с нею слиться: «Изалучи леса душой касаюсь, чтоб в них запомниться наизусть. Ау — зову или отзываюсь? — не догадаюсь, не разберусь».

Трогательный юный человек, безрасчетный в проявлении своих чувств и не умудренный еще «взрослой» наукой отстранять от себя лишнюю — «не свою» боль — таким рисовался герой книги. И драма, случившаяся в глухом распадке («Синяя трава»), помнится не столько гибелью лебедя, сколько трагичной остротой переживания человека.

Он старается еще сдержаться, сидит еще выглядеть спокойным, сам с собою рассуждает о тетиве и лебединой стае, о роптании черных лесов и неумолимости стрелы: «Не уберечься — упадет и не вернется лебедь в тот удивительный полет над перегретым летом».

Но — прорвалось: голос враз поднялся, накалился враз нестерпимой обидой, отчаянием, гневом.

И, как от лезвия ножа,
вдруг — надо, надо, надо! —
все оборвать и убежать
туда, в глухой распадок.
Кромсать тугую тетиву!
Ломать тугие луки!
И плакать в синюю траву,
заламывая руки.

Однако, кроме таких, ярких по реакции героя, стихов, были уже

в «Поляне» и другие стихотворения — за их внешне вроде бы спокойными и ровными интонациями угадывалось отстоявшееся окрепшее чувство, глубокое понимание простоты и красоты бытия Земли.

Бор смолой пахучей выстоян.
Облака. И два крыла.
Это — я стою под выстрелом
Грусти, осени, тепла.

Эта вот, по глубине чувства выверенная тональность стала определяющей в новой книге поэта.

«Васильковая вода» — так называется книга — свидетельствует прежде всего, что тема «Природа и человек», понимаемая как тема Отчизны, для Владимира Башунова не случайна, что она определена миропониманием его, самим характером его дарования.

По стихотворениям нового сборника видно, как вырастает и развивается у поэта чувство родины, какие новые жизненные сферы вбирает в себя.

Не в Россию — в меня
возвращаются птицы
и высокие гнезда вьют.
Не во сне — наяву парус
алого ситца
проскользил по лесному
ручью.
Как скрывали его потаенные
чащи,
как трепала волна. Но на той же
волне
он все чище и чаще, все чище
и чаще
подплывает ко мне, подплывает
ко мне.

Это из раннего стихотворения Владимира Башунова, вошедшего в сборник «Поляна». Теперь настойчивей и неотступней — «все чище и чаще» — оживает в его стихах многообразное, необъятное слово — Отчизна. Сдержанней, но и доказательней стала строка поэта. И кажется порою, будто засматривается он заворуженно в долгую далекую глубь и берет из этой глубины что-то простое и верное. Будто из далекого далека светят в стих накопленные чувства. Не утратив силы, но смягченные расстоянием, они общаются стиху состоянию несеминутности, устойчивости. «Герань зацветет или верба, звезда упадет или снег... Наверно, наверно, наверно, от них мои слезы и смех». Или:

Сначала окно голубеет,
лицо обдаёт холодком.

Сначала потянет,
повеет
росою и молоком.
И дальние крыши проступят,
и кроны деревьев взойдут.
И горькие сроки наступят,
и светлые сроки придут.

О чем бы ни говорил поэт, каких бы сторон бытия людского ни касался, живет всегда в его стихе непостижимо щедрая русская природа. «Как просто разбазарила она себя вокруг. Как ярко и беспечно! Как будто не на вечер — но навечно ей сила воплощения дана». И потому-то человек, для которого «тайна жизни и счастья в топоре и пиле», который знает уже — «сколь по свету ни летай, суетяся и скорбя, за красивой работой забываешь себя. Что родился когда-то, что когда-то помрешь...»; современный человек не отделим у поэта от дыхания пейзажа Родины. Соответственно с душевным настроением героя явственно ощущаешь в его стихе и предвечернюю истому летнего зноя, и как «август идет к пределу», а «лето медлит у рябин последним днем, последним светом», как притаивают речная гладь и лесная дорога и «лебедом белым» ступает вдоль зябких обочин «писанный словом и краской, музыкой и резцом» первый торжественный снег. И синие сумерки — как во-рожба...

У излучин родного бора начинается для поэта Россия, здесь — истоки любви и преданности, вещьность всего родного, самое — Родина. Заветные места, где определен «законный роздых душе заждавшейся твоей», где дышится «так глубоко и так легко и кажется: до новой боли от боли прежней далеко».

Мир лирики Владимира Башунова вообще чутко и доверчив. Там, в этом мире, сторонятся громких фраз и модных эффектов. Там легко отрешаешься от всяческой тщеты и суетности, легко настраиваешься на искренность, слышишь не слово, но что «за словом, не в этой насмешке — за ней». Волнующе и признательно звучит там мотив кровной привязанности и любви «к облакам, покосам, к птенцам, сыновьям, к траве. К женщине простоволосой, к стовольному граду Москве».

Благодарные и бережные сыновние слова обращают там к маме: «И снится мне, что я в бору, что с мамой ягоду беру. Бор чист, прохладен и высок, а мама молодая...» Или: «...по улочке, по заснеженной... Мама моя, прости, что мне не хватало нежности воды тебе принести». А если за пустышками

разговора таят то странное состояние, когда ты полон еще драгоценными, для любимой сбереженными словами, а негаданная «расставанная пора» уже «бьет крылами в твоё окно», — никто уж тогда тебя не поймет. Никто — только лишь мама. «Только мама вздохнет. Я скажу ей, что все это вздор. Просто скоро зима. Просто снег упадет. Просто нравится мне разговор».

Появились в сборнике «Васильковая вода» новые, не свойственные первым стихам поэта ноты. Тревоги, например. Будящей тревоги за все то дорогое, чем одаряет тебя с младенчества отчая сторона. Новая книга Владимира Башунова, собственно, и открывается словами надежды и веры. Его «От весны до весны...» читается как негромко произнесенное, но страстное заклинание: пусть навсегда, навсегда не будет военной беды, а все остальное на земле приложится. Терпеливыми трудами, содружеством людей — приложится.

Будет друг навещать,
руку класть на плечо.
Будет мать угощать
завитым калачом.
Если дым, то из труб,
если гром, то с небес.
И ни горестных губ.
И ни вдвоем чевест.
От сосны до сосны,
от воды до воды,
от весны до весны,
от звезды до звезды.

Или стихи о женщине в черном платье, о женщине «на трибуне»: «А в зале ничто не скрипит, не шевельнется никто». Стихи о горькой и святой, все не отжившей боли тех военных сороковых: «Чем тише женщина в черном, тем горе ее слышней...»

Поэтическим осмыслением высоких судеб своей страны звучит стихотворение «Россия». В нем нет конкретно поименованных исторических событий. И тем не менее есть в нем точное ощущение и огромности и величия русской истории и органичной слитности прошлого с современностью. Строка тугая, звенящая, а за строкою такая вера в человека: «Ржа души его не заела, боль с ума его не свела. Только б в полночь звезда горела! Только б в полдень работа жгла!» И широта натуры — плакать, как петь, и петь, как любить, — «целовать васильки и снег». И сознание ясное, что это нам, современникам, хранить и беречь — «точно дерево — сердцевины, точно школьница — нанзусть» — все победы и все у-

раты, все приметы и присловья отечества. И все подчинено правде высокого пожизненного чувства любви к своей Родине.

О Россия, твой отблеск
синий,
твой стремительный
силует...

Не пропала,
не обносилась,
ни конца, ни начала нет.
Белокаменная, стальная,
наклоненная в родники.
Только эта — и не иная!
С красных — Площади и строки!

Чаще стал обращаться теперь поэт к примелькавшимся приметам окружающей нас жизни. И всякий раз поворачивает он привычное непривычным для нас — и убедительным! — образом. Стихи звучат неоднозначно. Самая малая, ничего вроде бы и не значащая малость осмысливается в них как неотторжимая деталь целого.

Вот, скажем, стихотворение «По светлому полю пшеницы...». Это о вороне — тривиальной, черной, надоедой каркающей вороне.

В стихотворении есть что-то тревожащее, есть затаенный грустный укор («...и гонят и губят без цели и чем попадая»); и получается на поверку: ни горестных губ, ни горестных губ. И ни вдвоем чевест. От сосны до сосны, от воды до воды, от весны до весны, от звезды до звезды. Или стихи о женщине в черном платье, о женщине «на трибуне»: «А в зале ничто не скрипит, не шевельнется никто». Стихи о горькой и святой, все не отжившей боли тех военных сороковых: «Чем тише женщина в черном, тем горе ее слышней...»

Убив, не залечите боли.
Убив, зашвырнете в кусты,
а вольному русскому полю
не хватит былой красоты —
штриха,
векового слиянья
тревоги и тишины,
печали — воспоминанья,
подспудного чувства вины.

Нет, наверное, русского человека, который, позже или раньше, но не открывал бы для себя своего Пушкина. И вряд ли найдется поэт, который бы в свое время не сказал Пушкину слов любви и преданности.

У Владимира Башунова не то чтобы слова поклонения русскому гению — но именно ощущением прирожденного русского начала входит в стих его эта тема: Пушкин. И, кстати сказать, поэт от-

...Женщина пела и траву

косила.
Вспомнить не вспомню, забыть
не могу.
...И мокрые кони паслись на
лугу.

Однако сводить стихотворение к незатейливости только значило бы обеднять, намеренно упрощать его. А в нем есть нечто большее. Как и в ряде других стихотворений сборника, тут явно тяготение поэта к той сложной (при всей ее кажущейся внешней простоте) манере поэтического письма, когда все идет по неуволнмой тончайшей грани — будто ирреальное что-то, что-то пригрезившееся в зыбком полузабытьи, и в то же время — совершенно конкретное, реальное. Воображаемая реальность — чуть тревожная, чуть загадочная и оттого еще более притягательная. То есть (если употребить выражение В. Белинского) — необыкновенность, ставшая благодаря работе поэта истиной.

В целом новый сборник «Васильковая вода» говорит за то, что поэт все более зрело, более углубленно подходит к изображению различных сторон жизни, что значительно расширилась сама область чувствований его стиха, что значительно возросло его профессиональное поэтическое умение.

Но приходится тут же сказать, что не все стихотворения новой книжки Владимира Башунова обладают силой поэтической достоверности, не все оказываются способными сделать необыкновенное истиной.

Трудно отделаться, например, от ощущения вторичности, когда читаешь такие стихи, как «Приезд Пушкина». И не в том беда, что автор взял уже не раз использованный в поэзии сюжет (в поэзии считался человек Пушкиным — «сто страниц перелистнул я, тронул воздух(?) — тишина» — и привиделось человеку, что подъехали к дому санки, а в них Александр Сергеевич), а в том, что нет в этой картине собственных, личных душевных затрат. Потому все тут (побудительный мотив, ход действия, детали) производит впечатление унылого стандарта. Все идет проторенными дорожками, и сама мысль стиха о силе воображения («...позже вышел — след полозьев у крыльца») воспринимается только заимствованием, только будничным повторением того, о чем не раз и сильно было сказано другими поэтами. Нет, не «живого слова дрожь» вела здесь автора. Царствовала, кажется, тут даже собственными эмоциями, не согретая, холодная литератур-

ность. И не по той ли же причине поэт, столь чуткий к месту слова в строке, заставляет человека «трогать воздух». (Это ведь собака, да еще если она охотничья, прилещивает.)

Выразительны начальные строки стихотворения «Сумерки»: «Загустевает синий цвет. Летят, колышутся виденья. И просится в стихотворенье мелькнувший в окнах силуэт. А беглый взгляд? А санный след?» Но...

Но вот что читаем дальше: «Я все возьму, не жалко места». Это надо же такое поэту — все взять в свои стихи, потому как «не жалко места».

Места-то, положим, и впрямь не жалко. Да вот только на самом этом месте стихотворение что-то забуксовало, сбилось с тона, занервничало. Строки пошли разноматные, состоящие друг с другом в родстве весьма приблизительном. Одни убеждают, их чувствуешь: «Как две любви поврозь болят! А беглый взгляд — он был обманчив...» Другие — не уверены в себе, сами будто наперед знают, что их не поймут, и поэтому комментируют себя — кто они, что и откуда. «А в них такая грусть сквозная», — объясняет лирический герой слова, только что им самим произнесенные.

Или вот стихотворение, названное автором «Русь-Славяночка». Поначалу, пока стихи еще не прочитаны, слышишь в этом названии (или готовишься услышать в содержащемся за названием) что-то ласковое, нежно любимое, может даже обожаемое. Но обнаруживаешь скоро, что уменьшительное «Русь-Славяночка» никак стихами не оправдано, — не держит никак эту уменьшительность общая тональная ткань стихотворения, где речь идет об исторических пожарах и не позабытых с веками бессонницах, о том, как «поутру плещут лебеди за Непрядвой, стяги плещутся по ветру». И уже не нежность, но неуклюжая, недозволенная в нарисованных обстоятельствах фамильярность, какое-то обидно заниженное понимание «Славяночки» (почти как «милочки») проступают сквозь «топот конниц» и неостывшие далекие сны.

Между прочим, на стихах Владимира Башунова — и потому как раз, что это по преимуществу стихи настоящие, — резко видно, какой мгновенной реакцией отвечает слово на доброе, но также и на недоброе с ним обращение, как не терпит оно бесцеремонности, насилия и мстит тем, что портит стихотворение, иной раз основательно разрушая его.

«Вот и ягодка с печалникой, с холодникою вода, гуси к берегу причалили и пропали без следа», — сказано в стихотворении «Акварель». Тут все на месте, потому не слышишь, не замечаешь тут слова по отдельности — все видишь и чувствуешь целостно: вода не потеряла еще летнего тепла и света, но затанцось в ней уже предчувственные зимней стужи, и еще полетному теплой и яркая ягода запечалилась приближением своего срока: открасовалась, отрадовалась.

Но вот другое, очень хорошее в целом, впечатляющее стихотворение «Этюд с женщиной, освещенной закатом». Это из тех стихотворений, в которых любая не с того огорода прибывшая строка или чужая ему тональная окраска слова выпирают, мешают восприятию, сбивают весь стих.

Так вот, в хорошем стихотворении «Этюд с женщиной, освещенной закатом» (речь в нем о милой женщине, которая по каким-то обстоятельствам живет одиноко в родном доме, ласковыми руками творит всю неженскую работу во дворе, в огороде и вместе с тем умеет жить в согласии с окружающей ее красотой) усталая очаровательная женщина эта выражается никак не иначе, как «с теплотой и грустинкой». А грустинка сия инородна в стихотворении. И вот тут-то (не там, в «Акварели», где ягодка с «печалникой», а здесь, где тождественная печалнике грустинка) невольно вспомнишь, что не такая уж давняя мода порядком таки подзаездила всяческие «грустинки», «печалники», «хорошинки», что уже и 16-я страница «Литературки» почтила их своим веселым вниманием.

Есть однако и другая серьезная претензия к поэту. Заботясь о точности чувства, не слишком ли иной раз в стороне, без внимания оставляет он точность времени? А здесь ведь также нужна соразмерность, гармония и мера также необходимы здесь.

Герой книги Владимира Башунова житель по преимуществу сельский. И жизнь современного села автор тоже знает не с расстояния, не понаслышке. Юность поэта (до студенческих лет) прошла в деревне, вплоть до недавнего времени работал он в районной сельской газете. Самим родом занятий, стало быть, не кое-как связан был с сельскими проблемами, с непростыми деревенскими заботами. По стихам же не всегда о том догадаешься. Потому что нарисованное в стихотворении не всегда бывает соразмерно с ощу-

щением какого-то определенного времени, выверено до конца по приметам его социального климата.

Разумеется, претензия не в том, что нет у Владимира Башунова впрямую изображенных биографических особенностей сегодняшней деревни, прямых стихотворных рассказов, почерпнутых из ее жизни. Никому не надобно это, чтобы поэт ломал свой природный голос, изменял характеру своего дарования.

Но ведь и духовная биография человека (или общества) не сама по себе существует, не вне зависимости от времени, от какой-то сферы деятельности, наконец. Что ни говори, а чаще внешние впечатления, события не только личной но и общественной, и деловой жизни дают толчок, повод и материал для размышлений, анализа. Человек-то живет каждый день и — хочет он того или не хочет — каждый день сталкивается с кем-то и с чем-то, по охоте или неволе, но каждый день занимает какую-то позицию, куда-то движется. И позиция выбирается не без активного воздействия нравственных сил личности.

Вот и любимая поэтом природа — она ведь тоже имеет свою

очень не простую биографию, а наше время, как никакое ранее, стремительно добавляет в нее новые и разноречивые главы. Жизнь поставила природу и человека во взаимосложную ситуацию. Действуя на природе, человек то и дело ставит себе большие и малые плюсы и минусы. Тут ли не работа для поэта, так остроенно чувствующего природу?

А стихотворений активной защитительной реакции в «Васильковой воде» небогато, к «Синей траве» или «По светлому полю пшеницы...» тут мало что прибавишь. Однако же и «Синяя трава» и стихи о вороне говорят за то, что эта сторона темы «Природа и человек» не чужда поэту. Да и по всем устремлениям его можно видеть, что кровно близко ему как раз то понимание природы, о каком коротко и определенно выразился Михаил Пришвин: «Охранять природу — это значит охранять Родину».

Чтобы духовная, нравственная история его героя, пусть и опосредованно, но живее, активнее вбирала бы в себя факты и сложности своего времени, то есть — само движение жизни — вот чего хотелось бы от поэта, немало природой одаренного.

лась эта семья, жизнь которой сложилась так неудачно?

Витька давно, еще со школьных лет, любит Ларису. Любовь его слепа. Иначе бы еще в школьные годы Витька сумел заметить, что кроется за красивой внешностью. Сумел бы разгадать и способность самого чистого и светлого для него существа лгать и выкручиваться, и лень, и стремление помыкать им. Он понял бы и намеки соклассников на то, что «бывает дружба, а бывают вассальные отношения». Только теперь, после краха всех надежд, запоздало вспоминает Виктор факты, которые уже тогда, в школьные годы, могли бы сказать ему о многом.

О чем мечтал юноша перед свадьбой? «Ему все казалось, что после школы он не жил, а только готовился к настоящей жизни. Она должна была наступить с женильбой на Лариске. И о чем только не мечтал он длинными зимними вечерами. Их любовь, конечно, не такая, как у многих других. Исключительная! Особенная! Взаимное доверие, если его можно отделить от любви, тоже исключительное, особое... Ведь любовь — полное слияние двоих воедино, сплав, который не поддается никаким испытаниям. Чудесный сплав!»

«— Тебе Лариса не нравится? — с удивлением и беспокойством спрашивает Виктор у матери. (Он был уверен, что Лариса лучше всех на свете и не может кому-то не нравиться).

— А тебе она очень по душе?

— Конечно! А как же? И я ей тоже нравлюсь. Мы же, мам, давно... в школе еще дружили...»

«Вот и все! И что ему теперь ни скажи — ничего в резон не возьмет, — с грустью думает старая мать, давно понявшая Ларису... — Им невдомек, что ли, а может, наперекор нам, старикам, не хотят признавать, что ветви, дерево, корни — все едино, все одним соком питается. Ведь недаром раньше, как дело до сватовства, так начинают всю родню перебирать: кто какой есть или каким был, до третьего колена доберутся. Все вспомнят: кто до работы был неохоч, кто с водкой дружил, кто семью не блюл. А теперь это совсем не в счет».

Итак, с одной стороны — слепая, безрассудная любовь, с другой... недостаточно трезвый расчет. «...Лариса задумалась. Как случилось, что она вышла за Витьку? Не собиралась, даже в мыслях никогда не было, и пожалуй-ста, вышла. Тут, конечно, Сережка виноват». Да, после двух бурных

Е. МАКСИМОВА

ЛЮБОВЬ, БРАК, СЕМЬЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВODУ
ОДНОЙ ПОВЕСТИ

В последнее время в печати все чаще и настойчивее звучит вполне справедливый упрек в адрес современных писателей, уделяющих недостаточное внимание вопросам семьи, любви и брака.

В связи с этим мне хотелось бы остановиться на одном из немногочисленных произведений последних лет, в котором показывается любовь, так сказать, на самом сложном ее этапе — после свадьбы. Речь идет о повести Н. Г. Дворцова «Опасный шаг».

Я не касаюсь достоинств и недостатков поэтики и стилистики автора. Меня прежде всего интересует вопрос о взаимоотношениях, о принципах, на которых строится молодая семья, о роли общественности в организации семейных отношений. Мне кажется, эта проблема поставлена в повести остро и современно.

В основу сюжета произведения положена семейная жизнь Витьки и Ларисы Лобановых, продлившаяся всего три дня.

На каких же принципах строи-

лет, проведенных в городе, в сомнительной компании, пережив крушение первой любви, Лариска выходит за Виктора не то с досады, не то по расчету. «А что? Вот возьмет и выйдет. Выйдет на зло Сережке. А ему напишет. Дорогой, мол, Сереженька, нашелся человек иного принципа. Так что пожалуйста на свадьбу... Милости просим... А если что — сожалеть сильно не будем... Хоть его ничем не удивишь... А мать, пожалуй, права, Витька мяжок — лепи что вздумается. И способностями не обделен».

И вот крах.

«Так что все оказалось миражом, воздушные замки строил», — горько думает Виктор после свадьбы».

«Думал так, а пошло совсем по-иному. Сразу фальшь... непонимание... Но почему она считает, что ее прошлое не должно касаться Виктора? Возможно, стесняется, расскажет после, когда пообвыкнется? А возможно, у многих так? Думают, мечтают, а потом все лопается, как детский шарик».

«Чудачка какая-то, больше никто, — обругала себя Лариска. — Ничему не научилась! Строила планы, а старую каргу в расчет не брала. И вообще о многом не подумала...»

Мать Виктора не знает, что сноха предъявила сыну ультиматум: «Ты должен выбрать одно. Выбирай мать, если жена не нужна», — но ей «стало казаться, что совершилось непоправимое — не только ошибка, но и обман, похожий на тот, который раньше случался на ярмарках, когда ловкачи под видом хорошего всучали совсем негодное».

Кто же виноват в том, что случилось непоправимое?

— Зачем парню жизнь калечить? — спрашивает Ларису подруга.

— Ты, Нелька, завидуешь мне. Честное слово!..

— Не столько тебе завидую, сколько Витьку жалею. Хороший парень.

Вина молодой женщины очевидна. Но уж так ли невиновен Виктор?

Как случилось, что росли люди рядом, сидели за одной партой, а выросли совершенно разными? Выходит, права мать Виктора, утверждающая, что «ветви, дерево, корни — все едино»? По-своему, конечно, права. Сама она, вечная труженица, сумела привить сыну и любовь к труду, и уважение к людям. Лариска получила в наследство от своей матери умение ловчить, привычку жить лег-

ко. Но ведь двумя годами раньше Лариска пережила то же самое, что на долю Виктора выпало теперь. Факт остается фактом: и Виктор и Лариска оказались совершенно не приспособленными к практической жизни. Жизнь сломана и у того и у другого. И если мы можем надеяться на исцеление Виктора (время в подобных случаях — лучший лекарь, к тому же рядом любящая Верка), то судьба Ларисы, ушедшей вслед за подлецом, не дает нам права успокоиться.

Почему же молодые люди оказываются ни психологически, ни нравственно не подготовленными к практической жизни?

Семейная жизнь не частный вопрос. Семья — это первая ячейка общества, от которой во многом, а зачастую и во всем, зависит, каких членов получит общество. Не случайно Лев Толстой видел общественное назначение женщины в том, чтобы быть матерью, женой. Беда, а может быть, вина наша заключается в том, что психологическое и нравственное воспитание подрастающего поколения в вопросах любви, семьи, брака пущено на самотек. И чаще всего определяющим фактором в этих вопросах является пример родителей или старших товарищей. А примеры эти, к сожалению, не всегда достойны подражания.

Вот так и случилось, что Лариса не сумела отличить пошлости от оригинальности, а Виктор потянулся к внешней красоте.

У молодых людей зачастую нет представления о том, что их взаимоотношения, их семейная жизнь — не сугубо личное дело.

И не один Виктор, герой повести, возмущается до глубины души вмешательством общественности в его личные дела. Такое мы наблюдаем сплошь и рядом. И возмущение, мне кажется, бывает справедливым. Слишком уж беспардонно, по-топорному вмешиваемся мы иногда в святая святых человеческой души. Вот он, типичный образчик топорного вмешательства: «Трошин придавил сапогом папиросу и озадаченно поскреб затылок».

— Хорошо, говорят, когда все хорошо кончается. Но могло кончиться совсем по-иному, нехорошо. И ты уж давай отрегулируй все, чтобы ничего плохого. Сам понимаешь.

Виктор иронически хмыкнул.

— Отрегулировать можно систему зажигания или подачу топлива. Да и то не вдруг. И не каждый сможет...

— Ну и что ж ты хочешь этим сказать? — Запалов все больше

начинал выходить из себя. Ему казалось, что сердят его возражения Виктора, а в самом деле он сердился оттого, что у него неуклюже все так выходило. Откуда в Викторе такое? Всегда тихим был, беспрекословным. А тут погладить не дается, в пузырь лезет. — С машиной нахрапом толку не добьешься. А человек — не машина. Вот тебе потому и говорят, чтобы уладил. Ты ведь не кто-нибудь. Мы тебя всегда в пример...

Виктор сморщился, будто глотнул горького-прегорького.

— Не надо, Пал Палыч... — и вышел, громко захлопнув дверь».

Принесет ли пользу подобное вмешательство, когда по самым чувствительным струнам человеческой души бьет с размаху? Тысячу раз прав Артемий Захарович, когда говорит, что тот, «кто сводит таких, больше беспокоится о самом себе, своем благополучии. Да, да! Боится, как бы не вышло неприятности из-за развала семьи. Вот и стремится во что бы то ни стало свести... Лишь бы загнать под одну крышу». Ему, учителю, как никому другому известны плоды такого влияния. Общественность создает видимость благополучия, а с результатами «жизни под одной крышей» раньше всего сталкивается школа. «У нас принято непременно мирить, сводить. А возможно, не везде нужно такое? Лучше исправить ошибку вначале, чем потом» — этот тезис, выдвинутый Артемием Захаровичем, звучит в повести как одна из злободневных современных проблем.

А сколько в жизни еще таких Трошинных, которые говорят одно, а думают другое! «Трошину казалось, что Артемий Захарович говорит именно о нем, — у него все так получилось: вовремя ошибку не исправил, а теперь и жена ненавистна, и дети несчастны. Правда, он смирился, живет, но что это за жизнь? Каторга, самая настоящая каторга! Сама во всем виновата, а его грязью с головы до ног окатила и жить силой заставила. Не хочешь, а живи. После такого разве может быть что-нибудь похуже на любовь? Тут одно только — ненависть. А это чувство сходно с шилом: как ни прячь его — острее непременно вылезет, и все на него накаливаются».

Может показаться странным, но знала я семью, где двадцать с лишним лет люди жили под одной крышей, отгородившись друг от друга шкафами. Муж, которого жена заставила жить рядом с по-

мощью общественности, ни разу дома не садился за стол, не сказал женщине, живущей с ним рядом, ни одного слова. Подросшие дети возненавидели мать. Зато внешне все благополучно: сохранил семью! Кому нужна такая, с позволения сказать, семья? И кто от этого больше всего страдает? Дети! В конечном счете вместо одного нравственного урода государство получает нескольких.

Проблема семьи и брака, поставленная в повести, — острая современная общественная проблема. И ни топорное вмешательство представителей «общественности» в личную жизнь, ни судопроизводство в бракоразводных процессах здесь не помогут. Нужны иные, кардинальные меры. И прежде всего общество должно взять на себя труд готовить подрастающего человека к практической жизни, а не отдавать это серьезное дело на откуп семье, которая чаще всего лепит общественную фигуру будущего гражданина и семьянина по своему образцу и подобию. А еще страшнее влияние «улицы». Вопросы взаимоотношения полов настолько «засекречены» при нашей системе воспитания, что вызывают у подростков нездоровое любопытство, которое они удовлетворяют из случайных, чаще уличных источников.

Может быть, нетипичный случай положил автор в основу своей повести? Да нет, случай, пожалуй, типичен. И дело вовсе не в том, что между Ларисой и Виктором нет взаимной любви. В повести есть еще один интересный в этом отношении момент: Лариса поняла, что она «начала как-то не так», что надо все по-другому, что «без Виктора ей нельзя», что стать такой, как все, не так-то просто. Попыталась было она по-другому и... поняла, что ничего не умеет. И впервые Лариса упрекнула мать:

— Чему научила меня? Чего я умею?

— Вот те раз! Не очень-то ты охотилась... Отбрыкивалась от всякого дела. А теперь мать винить.

— А кого же еще? Мало бы что не хотела... Надо бы заставлять, учить...

В скольких молодых семьях, основанных не на расчете, а на взаимной любви, появляется разочарованность, когда «от вздох при луне» нужно переходить к приземленным семейным скучным обязанностям. Оказывается, у молодых людей об этих обязанностях, о материальной, нравственной ответственности за семью нет никакого представления. «Люб-

лю — и все! Я без него (в варианте «без нее») не могу!» И частенько это единственный довод в пользу создания будущей семьи. А вопросы «Что я могу? Что я дам любимому человеку? Что дам я детям?» Над такими вопросами многие совершенно не задумываются. Напротив, чаще думают только о том, что можно «взять» от любви. Ждут от семейной жизни иллюзорных радостей, безмятежного счастья. А тут вдруг не притершился друг к другу характеры, отсутствие терпимости к недостаткам любимого существа, материальные затруднения, психологическая неподготовленность принять в свою жизнь какую-нибудь «старую каргу», по выражению Ларисы, или вновь появившийся плод любви.

И хорошо еще, что у героя повести достаточно ума, чтобы не считать себя такой невинной «жертвой», чтобы не обвинять в случившемся никого, кроме себя: «К Лариске не было ни зла, ни ненависти, а только горькая досада, что он так глупо ошибся в своих чувствах...» А вот Лариска не из тех, кто причину общей беды ищет в себе самой. Она к этому совершенно не подготовлена.

В течение долгих лет, когда

женщина стремилась практически утвердить свое равенство с мужчиной, вырабатывался, если можно так выразиться, определенный общественный настрой: не только в среде молодежи, но и в нашей, взрослой среде считается чуть ли не мещанством, когда девушку начинают готовить к замужеству, к семейной жизни. Да, пожалуй, в том виде, в котором эта подготовка существует сейчас, она действительно похивает мещанством.

Но необходимо как-то сломать этот психологический барьер, необходимо утвердиться в мысли, что мещанство и психологическая подготовленность юношей и девушек к семейной, практической жизни — не одно и то же.

Огромная роль в разрешении этого вопроса принадлежит и художественной литературе. Повесть Н. Г. Дворцова, на мой взгляд, является одним из немногих произведений, которые ставят эту проблему во весь рост. Правда, автор берет «доказательство от противного», показывает принципы, на которых не должна строиться семья, и ведет повествование порою слишком прямолинейно, но это ничуть не снижает остроты и злободневности поставленных в повести вопросов.

Е. МАТОЧКИН

ДАР СВЯТОСЛАВА РЕРИХА

В 1974 году все человечество отмечало 100-летие со дня рождения великого русского художника, писателя, ученого, мыслителя, крупного общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. К этой знаменательной дате в Москве была приурочена большая выставка его произведений. Советские зрители смогли впервые так полно познакомиться с творчеством этого выдающегося мастера кисти. Рядом с известными его картинами, хранящимися в наших центральных музеях, на этой юбилейной экспозиции были представлены полотна, привезенные его сыном Святославом Николаевичем

Рерихом из Индии. Эти новые для нас работы были созданы в Индии, в основном в последние годы жизни художника, во время Великой Отечественной войны. Николай Константинович твердо верил и все делал для победы нашего народа в этой кровопролитной битве. Используя свой международный авторитет, он, находясь за рубежом, сплачивал антифашистов, борцов за мир, вложил немало сил в создание американо-русской культурной ассоциации, в ряды которой встали многие ведущие прогрессивные мастера искусства США. Именно в эти годы у Н. К. Рериха сложился «Бога-

тырский цикл» картин, посвященных героическим образам русского народа. Не только в этих полотнах, но и в небольших этюдах гор чувствуется то же напряженное состояние в природе, как бы участвующей во всех человеческих переживаниях.

Выставка, пользовавшаяся большим успехом у москвичей, побывала и в других крупных городах Советского Союза. Летом 1975 года сто двадцать произведений, прибывших из далекого индийского города Бангалора, разместились в просторном зале Новосибирского государственного университета в Академгородке.

На многих холстах художника сибиряки узнавали знакомые им места: истоки Катуня, отроги Катунского хребта, на картине «Партизаны» — заснеженную алтайскую тайгу. Словно ожила древняя легенда о народе чуди и продолжение этой легенды — «Богатыри пробудились», среди острых пиков возник могучий былинный богатырь «Святогор», а на картине «Победа» сверкает снежная корона «Владычицы Сибири» — Белухи. Именно в этих работах «Богатырского цикла» Алтайские горы стали символом величия, чистоты и неприступности родной земли.

Сибиряки, знавшие ранее Рериха по экспозиции его 60 произведений в Новосибирской картинной галерее, увидели здесь глубоко патриотические произведения, ставшие теперь близкими и родными.

Ученые-сибиряки, встречавшиеся со Святославом Николаевичем в Москве, выразили желание иметь произведение его отца на сибирскую тематику. В ответ

на эту просьбу 19 июня в адрес Новосибирского Академгородка из Индии пришла следующая телеграмма: «С большим удовольствием приношу в дар Сибирскому отделению Академии наук картину Николая Константиновича «Победа». В этой картине сочетались его непоколебимая вера в Родину и прогноз великого будущего. Прошу передать мой самый сердечный привет коллективу Академии. Святослав Рерих».

С большой признательностью и благодарностью была встречена в Советском Союзе эта радостная весть.

К матери алтайских гор и рек легендарной Белухе художник приезжал во время своей центральноазиатской экспедиции в 1926 году. Двуглавую «Владычицу Сибири» Рерих видел с южной стороны, с истоков Катуня. Такой она запечатлена на известном этюде, хранящемся в Лувре в Париже.

Картину «Победа» художник написал уже много лет спустя, в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Враг шел по нашей земле, однако гитлеровским планам молниеносной войны под Москвой был нанесен сокрушительный удар. Героическая битва, где участвовали сибирские дивизии, в предвидении полного разгрома фашизма вдохновили художника на создание этой картины.

На этом полотне художник показал символическую сцену — у подножия Белухи отрубил русский воин злобную голову Змея Горыныча.

«Победа! Победа! И сколько побед впереди», — писал Рерих в 1945 году. И сколько трудовых

подвигов увидела вновь сибирская земля. «Страна великого будущего — Сибирь», — твердо верил художник.

Еще в тридцатые годы Николай Константинович мечтал о «городе науки, где в тишине и мудром общении будут познаваться истины, где каждый ученый будет иметь в своем распоряжении лучшие аппараты. Можно представить, какие открытия впоследствии при общей согласованности и при сотрудничестве всех отраслей науки!»

У этой мечты — легкие крылья. В 1928 году в долине Кулу в Гималаях, где обосновалась семья Рериха после возвращения из пятилетней экспедиции по Центральной Азии, был открыт Гималайский институт научных исследований «Урусвати», организованный Н. К. Рерихом на базе обширнейших материалов, вывезенных из этого легендарного путешествия. Война приостановила деятельность института. Как бы принимая эстафету, в Сибири возник целый академический городок. Ученых-сибиряков интересуют богатые коллекции «Урусвати» и волнуют многие проблемы, которыми занимался институт. Дар Святослава Николаевича Рериха будет свидетельствовать об установлении научных и общественных контактов, начало которым положил его отец.

В ответной телеграмме Сибирское отделение АН СССР выразило Святославу Рериху глубокую благодарность за щедрый дар — картину его отца «Победа»: «Она навсегда будет для сибиряков памятью о Победе в Великой войне с фашизмом, символом грядущих побед и свершений, знаком наших нерасторжимых связей».

кля
ше-
рид

ко-
о
е и
ать-
ый
же-
кно
вос-
ан-
сех

пя.
Ги-
мья
пя-
аль-
дай-
ова-
ный
ир-
ных
ест-
дея-
бы
воз-
док.
бо-
и
ото-
Дар
риха
ста-
ных
оло-

бир-
ази-
окою
р —
Она
па-
ойне
щих
ших



РЕПРОДУКЦИЯ С КАРТИНЫ **Н. РЕРИХА** «ПОБЕДА».
(К статье Е. Маточкина «Дар Святослава Рериха»).

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ
ТЕАТР ДРАМЫ В БАРНАУЛЕ. ГРАВЮРА **Б. ЛУПАЧЕВА**.



40 коп.

Электронная библиотека АКУНБ, eLib.akunb.ru